Эдита Пьеха

От чистого сердца...

«Я не из дворян, дневников никогда не вела,
надеюсь только на память сердца».

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эдита Пьеха появилась на эстраде 50-х годов, как рассветный луч солнца, подаривший нечто новое, невиданное доселе. Под чутким руководством композитора Александра Броневицкого девушка-полька из французской глубинки, обладавшая бесспорным талантом и жаждой жизни, выросла в Артистку – чуткую, искреннюю, понимающую основные законы музыки и свято соблюдающую их. Она первая сняла со стойки микрофон, спустилась со сцены в зрительный зал, заговорила с публикой сердечно и искренне. Свет красоты внутренней отразился в облике внешнем – походка, голос, благородство осанки, добрый, понимающий всех и каждого взгляд.

Эта книга, написанная Артисткой от первого лица, не документальное исследование, а душевная ретроспекция человека тонкого, верящего, любящего жизнь во всех ее проявлениях.

- Эдита Станиславовна Пьеха
  -
  - Несколько слов для начала…
  - Память сердца
  - Франция
  - Польша
  - Москва
  - Ленинград
  - Знакомство с Броневицким
  - «Червонный аутобус» и первые шаги
  - «Это значит любовь»
  - «Сцена, сцена… Смех и слезы… Путь по тонкому льду…»
  - Рождение Артистки
  - Непростая участь Галатеи
  - Я – мама!
  - Космическая одиссея
  - Счастливые знакомства
  - Незвездные тернии
  - Впервые и по-новому
  - «Вырастет дочка моя незаметно…»
  - «Олимпия»
  - Муки любви
  - София-68
  - Куба, красавица Куба…

- Прощание с мамой
- «Прощай…»
- Геннадий Шестаков
- Мать и дочь
- «Мужчина, которого люблю»
- «Мамы не приходят…»
- Прошлое возвращается
- Прощай, моя любовь
- Владимир Петрович Поляков
- В поисках новой Пьехи
- Афганистан
- Наедине со всеми
- Звания и почести
- Мой зритель
- «У молвы на виду…»
- По законам молодости
- Жить надо вкусно!
- В «соловьиной роще»
- Вместо заключения

Эдита Станиславовна Пьеха
От чистого сердца

Художественное оформление обложки и макета *С. Власов*

Литературный редактор *Кристина Французова*

Фотографии на обложке *Алексей Кривцов*

Во внутреннем оформлении использованы фотографии из личного архива автора, а также: © Мирослав Муразов, Валерий Генде-Роте, Лев Устинов, Михаил Климентьев, Юрий Абрамочкин, Александр Устинов, В. Суходольский, Чернов, Рыбаков / РИА Новости; © Валерий Генде-Роте, Сергей Микляев, Алексей Стужин / Фото ИТАР-ТАСС; Влад Локтев, Алексей Кривцов, Александр Николаев, Дмитрий Елисеев, Владимир Урванцев, Семен Переплётчиков, В. Бандурин, Юлия Богословская, Алексей Новиков, Юлия Мариноха, Любовь Ширкина, Эрика Быстрова, Андрей Михайлов, Александр Цветков

С.Г. Переплётчиков. Фонд ЦИКНЧ
(Сканирование и обработка Ю.В. Латышева)

Несколько слов для начала…

Если бы еще пару лет тому назад мне сказали, что в будущем в издательстве «ЭКСМО» обо мне выйдет книга, я бы засмеялась: «Что за выдумки?» Эта идея казалась мне абсолютно невозможной. Книга обо мне? Зачем? Почему кто-то не из моего близкого круга должен знать, каким потом и кровью достались мне мое профессиональное прочное положение, дом и семья? Я пела и выступала в то время, когда выставлять напоказ личную жизнь было верхом неприличия. И даже не по той причине, что чувства, отношения и личные переживания были территорией интимной, скорее потому, что к профессиональной карьере певицы это все отношения не имело. У нас было заведено так: работа – это работа, а все остальное – твое внутреннее, и оно должно быть спрятано от чужих глаз.

Я родилась, росла и работала в те времена, когда основной ценностью была духовная составляющая человека. И сегодня, когда моя молодость прошла, изменились внешние данные, мне не жаль прошедшего времени, потому что есть то, что меня питает, что помогает моему сердцу биться так же воодушевленно, как в 20 лет, то, что делает меня живой – богатая, насыщенная, полная событий, побед и счастливых мгновений жизнь. Жизнь, напоенная солнцем счастливых встреч, крепостью зрительской любви, пьянящая, словно старое французское вино; жизнь, знавшая прекрасные озарения и преодоления, когда понималось, что только от меня зависит, будет ли завтрашний день таким, каким я хочу.

От дочери бедных польских эмигрантов я прошла путь до известной артистки. Испытала все, что должна испытать женщина, и даже больше – замужество, материнство… Сейчас я бабушка и даже прабабушка. Познала любовь, потерю любви и, что самое страшное, обман в любви, когда мужчины делали вид, что любили, а на самом деле им застил глаза ореол знаменитой артистки. И этот ореол помешал им увидеть во мне женщину, но у меня нет обиды на этих мужчин. Они погрелись рядом со мной, и я рассталась с ними.

Мечтой моего детства был дом – собственный, семейный дом, в котором спокойно и уютно. И я обрела свой дом, такой, о каком мечтала, – с кустами сирени, высаженной вдоль ограды в память о моем дорогом папочке, ушедшем так рано. Долгое время мне хотелось вырастить розы так, как делал это он, но, увы, питерская земля непригодна для этих цветов. Таких роз, как у моего папы, я не видела нигде, поэтому вместо роз сирень напоминает мне о

нем. Она щедро обрамляет часть моего сада, и это для меня такое прекрасное утешение. Стоит только взглянуть на ее душистые гроздья, как сразу передо мной возникает лицо папочки: память сердца не знает отдыха.

Добилась всего, к чему стремилась. Пережила столько, что не под силу пережить десятку женщин, но выстояла. Стерпела и, самое главное, простила тех, кто был несправедлив со мной, это еще один из моих жизненных девизов: «Помню только хорошее…» Мы приходим в эту жизнь не для того, чтобы копить в себе обиды. Нам дается уникальный шанс реализовать свой потенциал, стать мудрее, сильнее, развить свой талант. В этом мне не было преград.

Всем, кто был в моей жизни, благодарна. И спасибо им за все, что они привнесли в мою жизнь, даже за самые горькие уроки, обиды и лишения, которые в итоге и помогли мне стать сильной. Еще я благодарна судьбе за то, что у меня была возможность столько пережить. Мою жизнь ни в коей мере не назовешь скучной или однообразной. В ней были подчас такие невероятные события, которые кому-то могут показаться фантазией, но они действительно были. И каждый раз, когда казалось: еще немного – и силы кончатся, мне приходила помощь в виде людей или счастливых случайностей – так Господь хранил меня на всем протяжении моей судьбы. И ведь зачем-то Он это делал, значит, все не зря?!

Об этом и хотелось здесь рассказать. Вспоминать свою жизнь занятие непростое. Кому-то кажется: подумаешь, вспомнить и пересказать что-то, озвучить факты, которые, кроме тебя, не знал почти никто, вроде ничего сложного, а вот и неправда. Мы ведь запоминаем нашу жизнь не головой, не глаза фотографируют произошедшее, а сердце. Сердце – самый чуткий и верный фотограф. И, погружаясь в прошлое, я заново переживала всю боль от потери близких, радость от встречи с любимым мужчиной, волнение на первых выступлениях, страх погибнуть под обстрелами в «горячих точках» земного шара, где бывала неоднократно. Много чего было. И все это нужно было вновь пропустить через себя, заставить сердце приоткрыть невидимую дверцу, за которой хранятся все эти воспоминания. Как это непросто!

Я никогда не вела дневников, не делала записей, вот почему сегодня, вспоминая свою жизнь, могу где-то ошибиться в дате или вспомнить что-то не совсем точно. И вот книга случилась. Читая финальный вариант, не верила: неужели это и есть моя жизнь – от начала до дня сегодняшнего, разделенная на главы, выстроенная драматургически? Огромная ценность – осознавать, что твои

песни, твой повседневный труд и лишения, на которые ты идешь, чтобы быть в форме и выходить на сцену, как и положено профессионалу, – все это меняет жизнь других людей, делает их счастливыми, пусть на какое-то время, но и этого иногда довольно.

Мне казалось невозможным и ненужным обнажаться перед людьми, не этому нас учили большие мастера русской сцены: Шульженко, Утесов, Вертинский, но сегодня, когда мир и люди изменились, эта книга станет для них чем-то непривычным. Через историю моей жизни они увидят эпоху особенную, непростую, но такую настоящую, без грима и специальных фильтров! Я бы сказала, что мое время – это время ручной работы, точнее сказать, «сделанное от всего сердца». Не потому ли песни того времени и сегодня так хорошо воспринимаются зрителями, приходящими на концерты? В них есть искренность, дыхание души, живое ядро, спрятанное в основе тогдашней жизни и искусства.

Я приняла близко к сердцу эту работу, проделанную вместе с близкими для меня людьми и редакторами издательства, благодарю их за такт, терпение, профессионализм, желание увидеть мою жизнь такой, какой она действительно была, без стремления что-то отретушировать. Временами думалось: не надо рассказывать о чем-то очень личном. Меня убеждали, просили, объясняли, что, как непосредственный участник этой истории, я не всегда могу понять ее ценность. Иногда мне удавалось настоять на своем, но чаще приходилось сдаваться, ведь, отдавая эту историю на публичное обозрение, я смогу немного отдалиться от нее, и возникшая дистанция поможет мне обрести объективность Созерцателя.

И еще хочу сказать важную вещь: я – артистка, а не писатель. У меня эмоции всегда опережают мысли, случается, они захлестывают, и поэтому на бумаге всё получается не так, как в жизни. Скажу лишь одно: искренность была моей главной путеводной звездой, моим ориентиром, помогавшим не терять нить повествования. Редактору часто повторяла: я жила от чистого сердца, никогда не умела притворяться, лгать, стараться понравиться кому-то для достижения цели, хитрить. Возможно, моя прямота иногда становилась источником проблем – не все люди способны оценить такой стиль жизни, но я никогда не жалела об этом. У меня два девиза в жизни: быть искренней и помнить лишь хорошее, чего и вам желаю, дорогие мои…

Эта книга такой же труд множества людей, как и труд Артиста, выходящего к своему зрителю, а ко всякому труду нужно относиться ответственно. Спасибо тем, кто возьмет ее в руки и,

прочитав от первой страницы до последней, за простыми словами, описывающими события, почувствует душевные порывы, искренность и переживания, которые не покинули меня до сих пор.

От чистого сердца, Ваша Эдита Пьеха.

Память сердца

Мы помним не разумом, а сердцем. Когда я смотрю на редкие фотографии родителей, внутри все замирает. Вот одно из ранних фото в стиле той эпохи – мама с папой и братом. Меня еще нет и в помине. На черно-белом снимке не видны цвета, но для меня память возвращает краски: вот мама в красивом, но скромном платье с белыми лепестками, темно-коричневые туфельки на невысоком каблучке, на левом запястье – изящные часики, одна из редких её драгоценностей. Густые волосы, стрижка каре уложена по моде – струящейся волной. Взгляд такой спокойный, любящий, мама смотрит не в камеру, а в будущее, на меня, на все, что связало нас крепче крепкого.

Рядом с мамой – папа, в строгом аккуратном костюме, пиджак чуть приталенный, застегнут на одну пуговицу, жилетка, галстук, высокий воротник рубашки, накрахмаленный, жесткий, делает его похожим больше на семинариста, чем на шахтёра. Тёмные волосы тщательно причесаны, волосок к волоску, и взгляд, такой серьезный, говорит о силе воли и нежелании сдаваться, но в глубине глаз – лукавая улыбка, как будто он знает о жизни больше, чем все остальные, и ему ведом секрет, как удержать счастливые мгновения навсегда.

И, наконец, рядом с родителями – мой брат Пауль. Ему пять лет. Традиционный костюм для мальчиков, в руках игрушечная сабелька, смешная детская челка, приведенная в неподвижное состояние по причине торжества фотографирования. Краткий миг, навсегда ушедший в прошлое. Такие фотографии вызывают одновременно и нежность, и ностальгию – осознание, что когда-то давным-давно в далекой стране жили люди, украшавшие мою жизнь, благодаря им началось такое непростое, но увлекательное путешествие, длящееся для меня до сих пор. В этот миг, когда «вылетела птичка», ни брат, ни родители еще не знают, что скоро в их жизнь придет беда под названием война, но за два года до её начала – 31 июля 1937 года – в их семье станет на одного ребенка больше, появится девочка – Эдит-Мари. Это буду я.

А вот уже другое фото, где мы вместе с братом. Мне два года

или что-то около того, пухленькая, в белых ботиночках и гольфиках до колен, коротенькое белое платьице смотрится забавно – в нем я похожа на весенний ландыш. На голове мне соорудили лихой чубчик, я смотрю в камеру с интересом и живостью в глазах, суровая реальность еще не коснулась меня. Я – счастливая сестра, у которой есть красивый 12-летний брат. Вот он рядом со мной, подтянутый, серьезный, с чуть напряженным лицом маленького мужчины, черный костюм, галстук, волнистые волосы зачесаны на пробор, четко очерченные высокие брови, глубокий, не по возрасту вдумчивый взгляд, в руках книга. Но в нем еще есть что-то от ребенка: нежная кожа лица, ясность высокого лба. Какие хорошие черты лица! Мне страшно подумать, что спустя всего несколько лет это лицо исказилось муками боли – брат умирал страшно, от туберкулеза. Его постигла та же судьба, что и папу. Он умер в день своего 17-летия, что может быть страшнее – умереть в день рождения?! Но обо всем по порядку.

Конечно, память избирательна. Мы можем забыть какие-то факты, то, что тогда казалось очень важным, но память сердца делает свой отбор, она запоминает сюжеты, дорогие для него или очень болезненные. Поэтому, глядя на эти фотографии, вспоминаю то, что не могла помнить сама в первое время после своего появления, но знаю по рассказам родителей.

Франция

Мое появление на свет состоялось в 17.00, в доме № 37, на Rue de Flandre, в городке Noyelles-sous-Lens (сегодня это цветущий город в 5 километрах от Ланса). Располагался он на самом севере Франции, в провинции Pas-de-Calais, в 300 км от Парижа. Что такое север Франции в те времена? Промышленные районы, на которые уповала вся Франция, сильно обедневшая после Первой мировой войны. Еще эти районы назывались кантонами, населяли их те, кого сегодня принято именовать гастарбайтерами: эмигранты, приехавшие во Францию с единственной целью – заработать на кусок хлеба для себя и своей семьи. Чаще всего эти люди, по сути, становились рабами на шахтах тех небольших промышленных поселений, где суровые владельцы устанавливали жесткие правила для всех, кто там жил. И, конечно, тяжкий труд эмигрантов не давал им возможности жить безбедно, заработанных денег хватало лишь на самое необходимое, в основном почти все терпели нужду. Добыча угля была основным направлением французской промышленности в департаментах, подобных Па-де-Кале. Город Ланс, неподалеку от которого мы жили, был центром шахтерского мира, именно в нем 10 марта 1906 года на руднике «Курьерс» произошла одна из самых страшных катастроф. Мощный взрыв метана унес жизни более 1000 шахтеров, но, даже несмотря на это, люди приезжали на шахты и, рискуя ежедневно, спускались в забои, иногда целыми семьями.

Мои родители не стали исключением. Папа, Станислав Пьеха, был родом из Польши, точнее, из Силезии. Это многострадальная область Польши, которая все время переходила из рук в руки: то отходила к Польше, то аннексировалась немцами. Окончательно она отошла к Польше только после Второй мировой войны, а до того этот край сотрясали постоянные конфликты.

Фамилию Пьеха мне подарил именно папа. Был такой знаменитый польский род Сапехи, старинный, магнатский. В русском варианте Сапеха звучит как Сапега. Потом, видно, Сапехи обнищали до того, что сократили свою фамилию и стали зваться Пьехи. Было время, когда на моём загородном участке часто стал гаснуть свет, я пожаловалась, а мне ответили: «Так это ваш сосед Сапега включает свою электропилу. Вот напряжение и не выдерживает. Вы поговорите с ним…» Подумала тогда: а не тот ли это Сапега из знаменитого магнатского рода? Хотела ещё поговорить с ним, может, он знает свои родовые корни.

Я бывала там, в Верхней Силезии, где до сих пор живут мои

кузены, их многочисленное потомство. Однажды был такой забавный случай: перед концертом в Катовицах стою на сцене, готовлюсь, сзади меня какие-то рабочие что-то делают, и вдруг слышу: «Пьеха, подвинь рояль левее…» Я поворачиваюсь на голос, несколько обескураженная, говорю: «Я не собираюсь двигать рояль…», а мне отвечают: «Мы не к вам обращаемся…» Выяснилось, что это была фамилия одного из рабочих сцены – в этих местах Пьеха, как в России Иванов. Ну, а если серьёзно, я испытываю к этим людям и к этим местам симпатию, они – моё прошлое.

Мама моего папы (звали её Марианна Пьеха) всю жизнь прожила в Силезии, охваченной пламенем революций, восстаний, партизанской войны, потеряла троих мужей – ведь все они боролись за независимость этой области. Я плохо помню бабушку – мама разыскала её только после войны. Помню, как мы поехали к ней познакомиться. Всю дорогу я с замиранием сердца думала о том, что скоро увижу маму моего дорогого папочки, который к тому моменту уже умер. Марианна оказалась древней 90-летней старушкой, первое, что в ней сразу напомнило об отце, были её мудрые, добрые глаза.

Увидев нас, она очень обрадовалась еще и потому, что встреча с нами оказалась для нее сюрпризом – мы никогда не переписывались, она даже не знала, что у её сына есть двое детей. Было видно, как грубы её руки, сколько глубоких морщин на её лице, как осторожно она говорит, за всем этим чувствовались большая боль и лишения, но Марианна не жаловалась.

Никогда не забуду ту настоящую лесную хижину, где она жила. Казалось, такие бывают только в сказках, но нет. Мы гостили в ней несколько дней, и я ощущала себя сказочной героиней. Можно сказать, что бабушка была отшельницей – на много миль вокруг никакого жилья, моя мама все удивлялась: «Господи, как вы здесь живете?» – «Хорошо», – отвечала бабушка и грустно улыбалась. Питалась она тем, что дарил ей лес – ягодами, грибами, что-то варила из разных растений. Встреча с ней потрясла меня: стало понятно, откуда в моем папе столько силы. Была в его характере и гордость. Гордость человека бедного, тяжким трудом зарабатывающего на хлеб. Мать часто говорила ему, что никому и никогда не должно быть стыдно за достаток, заработанный руками. «Бедность – не беда, но если ты забываешь, откуда ты пришел и кто твои родители, – вот истинное горе».

Мне тогда было 9 лет, но её слова запали в сердце, ведь я знала, что такое жесточайшая нужда, голод и страх. Я – ребенок, переживший войну! Не приведи Господи живущим ныне детям

пройти через это. Два чувства владеют тобой – страх и голод, они поглощают тебя полностью, и нет возможности это изменить. Даже если рядом с тобой взрослые, ты смотришь на них и понимаешь: они тоже боятся. В хижине Марианны мне довелось понять главное: человек обречен бороться, всегда и везде. Он должен отвоевывать свою свободу и свой хлеб. Просто так не достается ничего.

Папа, папочка… Конечно, моя память неспособна была запомнить все, что было с ним связано, – все события, все слова, что он говорил, увы, многое потеряно, как и его могила, в которую позже положили моего брата Пауля. Как я радовалась, когда удалось найти их могилу во время моих первых выступлений в парижской «Олимпии», но радость была недолгой. В 1969 году, снова оказавшись в Париже с Ленинградским мюзик-холлом, я узнала, что могилу снесли. Какой это был удар!

Папа же подарил мне одно из первых потрясений, в хорошем смысле этого слова, точнее, преподал урок восприятия красоты. Трудно себе представить, но он, человек, занимавшийся тяжелым, опасным для жизни и здоровья трудом, выращивал в саду розы сказочной красоты! Ухаживал за ними, как за детишками. На одном кустике прививал черенки разных сортов и получался куст, как букет разноцветный: белая, розовая, желтая, бордовая розы… Еще его руками была создана целая стена сирени махровой. Если бы не война и нужда, папа непременно стал бы садовником. Никто не выращивал такие красивые и высокие кусты роз, как он. Видя все это, я просто не могла заблудиться в жизни: папины цветы помогли мне сформировать чувство красоты. Сколько нежности было в его душе, страшно осознавать, что между мной и ним пролегла война и его болезнь.

Силикоз – профессиональная болезнь горняков, тяжелая, неизлечимая. От затяжного глубокого кашля она быстро переходит в опасную для здоровья форму. То, что поначалу казалось обычным бронхитом, очень быстро стало развиваться: давящая боль в груди, ощущение тяжести, одышка, потом папа начал задыхаться даже вне шахты, дома, на улице. Я видела, что он болеет, болезнь усугублялась. Ему не хватало хорошего питания, которое так необходимо, чистого воздуха, солнца. Когда началась война, все стало еще хуже. Папа надрывался на шахте каждый день, чтобы мне, брату и маме принести лишний кусок хлеба, а сил с каждым днем становилось все меньше, и он это чувствовал. В последние дни жизни папы мама старалась, чтобы я не видела, как он мучается.

Я очень благодарна папе за ту внутреннюю силу, что досталась мне от него. Сколько раз ему приходилось

подниматься, сколько раз жизнь загоняла его в угол, отнимала средства к существованию, но папа говорил: «Мы должны идти дальше». И шел. Папа, пока был жив, всегда защищал меня. Помню, во время войны в нашем городке жили «фольксдойче» (Volksdeutsche) – этнические немцы, я играла с дочкой одного из них и случайно оцарапала её детским совочком. Она расплакалась и побежала к родителям жаловаться. Тут я поняла, что произошло что-то очень страшное, и тоже заплакала. На разгневанный вопль отца девочки вышел мой папа и спокойно сказал: «Моя дочь еще слишком мала, чтобы творить зло умышленно, простите её». Конечно, после произошедшего я уже не играла с этой девочкой.

Папа умер в 1941 году. Его смерть стала моим первым горем. Не бедой, не несчастьем, а именно горем, огромным, как гора. Оно надвигается на тебя неотвратимо, и ты полностью исчезаешь под ним. Ты глохнешь, внутри тебя все холодеет, не сразу получается заплакать. Слезы приходят позже, прорываются из тебя, как река сквозь дамбу, говорят: «Поплачь, будет легче». Но легче мне не становилось, душило чувство неотвратимости, осознание того, что теплая, нежная часть моей жизни уже никогда не вернется. Улыбка папы, взгляд его глубоких пристальных глаз, шершавые крепкие руки с широкими ладонями, его надежные плечи. И голос, глубокий, завораживающий…

В тот день положили в землю не папочку, а все то, что придавало мне уверенности, защищало меня, и я сказала себе: «Теперь тебя никто не будет защищать». Понимала ли, что его уход сделает меня сильнее, что так жизнь беспощадно прокаливает наши души? Наверное, нет.

Но сегодня я иногда фантазирую на тему: как могло бы быть, например, если бы папа не умер так рано, мы остались бы жить во Франции, но что было бы со мной? Лучшее, на что я могла рассчитывать, – пойти в услужение в дом местного французского буржуа. Или… Не знаю. Судьбу не предугадаешь. Судьба как клад, на который натыкаешься нечаянно, он тебя греет, и ты по жизни идешь уже в другом качестве.

В 1939 году началась война. Конечно, по причине малого возраста в моей памяти не осталось фактов или воспоминаний об объявлении войны, но до сих пор, когда слышу это слово, внутри мгновенно просыпается та непреодолимая дрожь, что лишает равновесия. Не люблю вспоминать это время – повсюду рыли траншеи, при сообщении об очередной вылазке партизан Сопротивления все знали, что немцы будут мстить мирному населению. Помню, как один раз мы были в кинотеатре, и

неожиданно началась бомбежка, толпа людей выбежала на улицу, а до бомбоубежища далеко, и все стояли вдоль домов, прижимаясь к стенам, а над нами в небе реяли самолеты, сбрасывавшие бомбы.

Однажды мы шли в школу и увидели, как немцы гнали колонну с пленными – небритыми, усталыми людьми в шинелях без поясов; они работали на шахтах, а немцы отправляли добытый ими уголь на эшелонах в Германию. «Маки» (так называли в нашем городе членов французского Сопротивления) пускали эти поезда под откос. Немцы в назидание расстреливали местное население, не разбираясь, – могли кого угодно схватить прямо на улице. Иногда им удавалось вычислить членов Сопротивления, и тогда весь городок, и дети в том числе, становились свидетелями показательных казней.

Но Сопротивление не стихало, и не важно, что большинство жителей городка не были французами. Против оккупантов поднялись почти все, кроме «фольксдойче» (они сотрудничали с немцами). Наш городок входил в департамент Па-де-Кале, который был эмигрантским районом. Мама говорила: «Хоть мы и выросли на чужбине, я считаю, что нет такого понятия «национальность», есть плохие и хорошие люди». Рядом с нами жили беженцы из разных стран – алжирцы, марокканцы, сербы, чехи, украинцы, но польская диаспора была самая большая.

Мамочка моя, Фелиция Каролевска… Она внушала мне, что труд, порядочность, честность – самое лучшее в человеке, и я искренне стараюсь быть такой, какой она хотела меня видеть. И хотя мы жили вместе только 18 лет, очень многие её слова и пожелания помню до сих пор. Часто слышу её голос так, будто она рядом со мной. Перед сном всегда перекрещусь, помолюсь и скажу ей: «Мамочка моя, родная, подскажи мне, как поступить правильно?» До сих пор храню её письма (к сожалению, их немного), мы переписывались, когда я уехала в Советский Союз. Если бы знала, что она уйдет так рано, постаралась бы писать чаще. Но случилось, как случилось, у меня осталось около 50 писем, написанных в последние годы её жизни. И хотя внешностью я больше пошла в папу, мама мне так и говорила: «Ты будешь счастливой, у тебя глаза папины», очень многое я взяла от нее: музыкальность, способность к языкам, хороший вкус. Так же, как она, я люблю кофе.

Мама никогда не была праздной, чтобы она сидела на лавочке и бездельничала – такого быть не могло, все время в трудах. На ней был дом, а толк в хозяйстве она знала: из маленького количества продуктов ухитрялась приготовить

вкусный салат, второе и даже немного десерта для нас, детей. Не помню, чтобы мама кокетничала, любовалась собой перед зеркалом, у нее не было на это времени, но её одежда всегда была элегантной, любимый наряд – коричневая юбка, розовая кофточка и серый пиджачок, так она ходила в костел.

У нее было много талантов: могла сшить за ночь из двух старых платьев новый наряд для меня, часто говорила: «Чтобы не быть попугаем, нужно всегда использовать в одежде не больше трех цветов». Кроме этого, мама вязала, вышивала, пела в хоре костела и играла на мандолине. Знала три языка: родной польский, немецкий, французский.

Она всегда говорила: «Есть надо красиво». Поэтому даже в войну, когда есть было практически нечего, на столе в нашем доме всегда была скатерть. Где-то она добывала селёдочные головы и вываривала их. Доставала красивую посуду, и за красиво накрытым столом мы ели нищенскую пищу. Вкус к жизни начинается с мелочей, даже с того, как ты подашь обед. От мамы и у меня любовь к красивой посуде. Кстати, я до сих пор храню любимую скатерть моей мамы. Удивительно, она всё ещё не выцвела, хотя во многих местах заштопана. Ношу я и обручальное кольцо, которое папа надел маме в день венчания в 1926 году.

После ухода папы наша связь с мамой стала еще более тесной. Первое время после похорон мое равновесие было сильно нарушено. Мама почувствовала мой страх и стала для меня опорой. Хотя я, будучи четырехлетним ребенком, интуитивно ощущала, что и ей нужна помощь, поэтому никогда не капризничала, не спорила с мамой и делала все, о чем она меня просила.

Когда началась война, мама часто запирала меня на ключ в моей комнате и уходила на работу. Зная в совершенстве

немецкий язык, она имела возможность заработать: постирать или заштопать белье для немцев, чтобы получить за это лишнюю миску похлебки. К нам приходил иногда немецкий офицер с горшочком: «Frau Pjecha, ich habe Ihnen etwas Suppe mitgebracht» – «Фрау Пьеха, я принес вам немного супа». Это помогало нам с братом не ложиться спать голодными. Спустя много лет в моем репертуаре появилась песня, в которой были слова: «Мне не снились сказки, снилась корка хлеба и большие бомбы, что летели с неба…»

Мою мамочку многое связывало с Германией: она родилась в Пруссии (тогда Польши как таковой не было), ходила в немецкую школу. Когда я играла с немецкими детьми, она мне всё время говорила: «Das muss man so sagen!» (Ты это должна сказать так.) Ты хочешь спросить? Скажи: «Sagen Sie mir bitte» (Скажите пожалуйста). Мама учила меня, и ей было приятно, что потом, когда я ездила с концертами в Германию, пела песни по-немецки. «Германия – это моё детство», – часто говорила она.

Родилась мама в бедной многодетной семье, кроме нее в семье были еще две дочери и три сына. Я несколько раз слышала от нее: «Из трех сестер я была самая некрасивая». Младшая и старшая сестры пошли в дедушку – высокие красавицы, с густыми волосами, с правильными чертами лица, а мама была похожа на бабушку. Не знаю, почему она так считала. Знаю лишь, что она никогда не переживала на эту тему, смирилась и не строила иллюзий.

Младшая сестра мамы, Ирэна, вышла замуж во Франции за богатого фабриканта-колбасника и никогда не знала нужды. В их доме всегда было довольно еды, но чем богаче они становились, тем меньше им хотелось помогать нам. На самом деле они никогда этого не делали, лишь иногда Ирэна присылала несколько кусочков колбасы для моего умирающего брата, когда он уже лежал и не мог ходить. Даже во время оккупации Ирэна с мужем не голодали: в их мясной лавке постоянно толклись немцы: эта нация очень любит мясо, так что бизнес у тети шел хорошо.

По отношению ко мне, своей племяннице, Ирэна также не проявляла особой заботы, несколько раз дарила мне туфли, которые носила ее дочь Жанин. Мне они были малы, я носила их и плакала – от боли и обиды. Уже во взрослой жизни, когда однажды пришла на прием к хирургу, он спросил меня: «Почему пальцы на ногах у вас искривленные?» – «Да потому что донашивала за сестрой обувь, которая была мне мала…»

Но все же маме приходилось поддерживать с сестрой

отношения, в основном ради меня и брата. Отношения не складывались, не знаю почему – может, правду говорят: «Сытый голодного не разумеет». Я часто наблюдала, насколько щедрее люди бедные, чем те, чьи закрома полны доверху. Особенно это видно во время войны, когда всех объединяет одна беда, но кто-то выживал, а кто-то жил очень даже неплохо, не помышляя о помощи близким.

Мы были не единственными родственниками тети Ирэны, с которыми она так обращалась. Еще будучи ребенком, я видела, в какой бедности, если не сказать нищете, жили мои бабушка с дедушкой по материнской линии. Но если моя мама постоянно пыталась помочь родителям, то от Ирэны помощи не было никакой. Во время войны я часто гостила у них, потому что мама много работала, а меня было не на кого оставить. Помню их дом в пяти километрах от Нуайель-Су-Ланс, больше напоминавший барак, чем приличный дом. Они оба были уже очень старыми, работать не могли, жили на пособие и то, что от себя и детей отрывала мама. Дедушка был художником по росписи стен, в доме была стена, расписанная его рукой. Я часто сидела напротив и всматривалась в эти необычайно яркие мазки. Мне нравилось сравнивать, как менялась картинка при близком и дальнем рассмотрении. Если подойти близко-близко, видны мазки краски, грубые, шероховатые, наступающие друг на друга, как маленькие волны, а отойдешь – и они словно исчезают, картина оживает, приобретает размах, сюжет. Ты уже видишь не детали, а историю целиком. Так и в жизни: если стоять слишком близко к происходящему, видны только отдельные фрагменты, и только отойдя на расстояние, можно увидеть все в целом.

Старшая сестра мамы Валентина тоже вышла замуж за польского шахтера, но он, как и мой папа, умер во время оккупации, и вскоре она стала женой богатого австрийца, с ним после войны уехала в Австрию. Мы практические не общались.

Мой брат Пауль после смерти папы спустился в шахту, чтобы мы с мамой не потеряли жилье, ему было всего 14 лет. Кстати, в шахту в таком возрасте не брали, но братишка был высоким, почти 180 сантиметров, и это помогло ему прибавить себе пару лет. Хотя уже тогда у него было плохое здоровье, ничего другого ему не оставалось – иначе мы бы потеряли жилье. Оно давалось бесплатно только тем семьям, в которых хотя бы кто-то один работал в забое, а если шахтер умирал, семья теряла кров. Такие порядки установил хозяин шахты, и спорить было бесполезно. Когда нам сообщили о том, что мы можем потерять жилье, я заплакала и проплакала целый день. Ходила по крошечному участку, гладила листья посаженной папой персидской сирени,

разговаривала с разноцветными розами, которые он, селекционер-самоучка, вырастил на одном кусте.

Приходил Пауль вечером жутко усталый, кушал и сразу ложился спать, что и понятно: труд в шахте не был рассчитан на 14-летнего ребенка. А Пауль был именно ребенком, несмотря на свой высокий рост. Он прожил короткую, тяжелую жизнь, без радостей и надежд. Единственным его развлечением были танцы, на которые он ходил с удовольствием. Там на него заглядывались местные девушки, ведь он был красивым.

Мы с братом мало общались, я была еще совсем ребенком, – в памяти остались наши купальные дни, когда мама ставила на кухне большое корыто, грела воду и мыла в нем брата, а я бегала вокруг и дразнила его, он смеялся, бил ладошками по воде, брызги разлетались во все стороны, но мама не сердилась…

Последнее мое воспоминание о Пауле – те три месяца, что он болел. Вставать он уже не мог, скоротечный туберкулез приковал его к постели. Я заходила к нему в его комнатку на первом этаже рядом с кухней. За полгода до его смерти, накануне Нового года, маленькую плитку шоколада подарила нам богатая тётя. За праздничным столом всем досталось по дольке, а остатки мама сберегла на чёрный день.

Умирал братик тяжело. Я часами сидела рядом, держа его за руку. Иногда он просил меня: «У мамы в шкафу есть плитка шоколада, возьми для меня кусочек, тебе ничего не будет…» А я боялась. Боялась в особенности Яна Голомба, моего будущего отчима, тогда он еще только ухаживал за мамой. Однажды он вновь попросил шоколада. Я кинулась к маме. Она достала крошечный свёрточек. Прозрачными и горячими, как огонь, пальцами брат взял коричневый квадратик, медленно поднёс его ко рту и благодарно прикрыл глаза…

Братишку положили в одну могилу с папой. Кладбище было неподалеку от школы, где я училась. Я часто туда ходила… Сразу после похорон Пауля мама и Ян отправились в мэрию – регистрировать брак. «Молодожёны» ехали на велосипедах, а я бежала следом…

Есть пословица: «В горе и родные стены помогают». «Родные стены» во Франции – это наш дом на улице Фляндр, он был предназначен для двух семей и имел два входа. На первом этаже располагалась большая кухня и комната брата, в которой он позже умер. На втором этаже – две комнаты: в одной спала я, во второй – родители. При доме был маленький приусадебный участок.

Сегодня, вспоминая дом детства, я не испытываю каких-то

особо нежных чувств, для меня важно было то, что рядом со мной были родные люди. В этот дом возвращался мой папа, и на его щеках виднелись остатки угольной пыли. В этот же дом его принесли, когда он не смог подняться в забое после приступа удушья, из него вынесли на кладбище…

Во время ночных бомбежек (немцы особенно ожесточенно бомбили север Франции, потому что он был охвачен Сопротивлением) мой будущий отчим хватал на руки больного брата и кричал мне: «Быстро беги». Убегая, я всегда думала, застану ли наш дом целым, когда вернусь. Однажды смерть подобралась совсем близко – бомба попала в соседний дом, полностью разрушив его.

Здесь же я узнала, что у меня могла быть старшая сестра. Когда мама только что вышла замуж за папу, то почти сразу забеременела. Даже будучи в положении, она часто навещала родителей, о которых я рассказывала. Жили они в 5 км от нашего городка, транспорта никакого не было, и ей приходилось преодолевать все эти километры пешком. В очередной раз побыв у них, мама отправилась обратно. В дороге начались схватки, но пока она добралась до больницы, ребенок задохнулся. Эту боль смягчило лишь появление в 1927 году моего брата.

В этом доме в 1945 году родился мой сводный брат Юзеф. Это еще одна моя боль, но я забегаю вперед. До рождения сводного брата в моей жизни был период, воспоминания о котором тяготят меня. Я уже говорила, что хозяин шахты завел строгие порядки, сообразно им жить можно было в служебном доме, только если кто-то из семьи работал на шахте. После смерти брата мы с мамой опять оказались перед угрозой потерять жилье. Куда бы мы пошли? Денег на жилье у нас не было, оставалось лишь следовать правилам.

Отчим, Ян Голомб, вошел в нашу жизнь, еще когда был жив Пауль. Ирэна, сестра мамы, познакомила их. Как и мой папа, он был шахтёром, и маме пришлось выйти за него замуж, чтобы не потерять жилье. Мне было 7 лет, я ничего не понимала в отношениях мужчин и женщин, а тем более что происходит между мамой и этим человеком, но навсегда запомнила тот день, когда они оба приехали из мэрии на велосипедах и мама сказала: «Теперь нас никто не выгонит из дома». Да, она не любила Яна Голомба, но он обладал всеми необходимыми мужскими качествами и мог о нас позаботиться.

Тогда же состоялось первое столкновение с отчимом. Войдя в дом, он сказал мне: «Теперь ты будешь Эдит-Мари Голомб», на что я, совсем еще ребенок, дерзко ответила: «Фамилия моего папы Пьеха, и я останусь Пьехой».

Мне не пришлось вникать в отношения отчима и мамы, у меня была своя комната, у мамы с отчимом своя. Во Франции у нас с ним особых конфликтов не было, они начались позже, в Польше. Но прежде несколько слов, что это был за человек.

Поляк по происхождению, человек неграмотный, простой, из крестьян, по жизни он был смекалистым и на все имел свое мнение. Сегодня, когда его уже нет и прошло много лет, необходимых для того, чтобы увидеть прошлое таким, каким оно было, могу сказать, что при всей моей непримиримости и нелюбви к этому человеку я благодарна ему за все, что он сделал для меня и мамы.

Пусть он был подчас беспощадным, по его мнению, все женщины по природе своей легкого поведения, и меня он воспитывал исходя из этого принципа, однако с его помощью мы не только сохранили дом, но и впервые за долгие годы жили в относительном достатке. Он был необычайно работящим, не чурался никакой работы. Например, во время войны по карточкам давали вино, мама выпаривала его, сцеживала в небольшую бутылочку получившийся спирт, а отчим, рискуя жизнью, вез его на фермы для продажи крестьянам, умело обходя немецкие патрули.

Все пережитое: уход близких, нелюбовь отчима, пугавшая неизвестность, сомнения – стало для меня настоящей закалкой. А вот школа, в которую я пошла во время войны, превратилась в очередное испытание характера и силы воли.

Сразу за нашим домом шла главная улица – Националь, по ней мы бежали до площади, потом сворачивали к костелу, при нем-то и была наша приходская школа.

Во французской школе мне довелось поучиться лишь первые три года. Она была под крылом католического костела. Мальчики и девочки учились раздельно. Не могу сказать, что школьная пора была для меня счастливой: учеба давалась тяжело. В 12-й класс (во Франции странная система счета классов – с последнего к первому) я пошла в шесть лет. Первый год жутко переживала, не понимала, что от меня хотят. Нас странно учили: учительница что-то рассказывала, писала на доске, потом мы шли на перерыв, во время которого, жуя сухое печенье, напоминавшее галеты, должны были заучить рассказанный нам материал. После перерыва учительница спрашивала, что мы запомнили. Уроков на дом нам не задавали. Эта система обучения мне очень не нравилась.

Я с косичками в платье в клеточку во втором ряду, третья справа

Существовало правило: учительницы не имели права выходить замуж. Считалось, если у них будут свои дети, то они меньше будут любить тех, кого учат. В школе все должно быть подчинено тому, чтобы вырастить достойного человека, и тот, кто его воспитывает, не должен быть чем-то обременен. Может, именно поэтому обращались с нами довольно жестко: если кто-то плохо писал сочинение, то в лучшем случае получал линейкой по руке, в худшем – мы стояли в углу класса на коленях… Иногда доходило до того, что ставили коленями на горох. Считалось, будто боль лучше способствует запоминанию жизненной науки. Этот метод воспитания кажется жестоким, но он выработал во мне чувство собственного достоинства. Если я не хочу, чтобы меня били линейкой, я не буду больше говорить на уроке. Если я не хочу больше стоять в углу на коленях, я буду внимательно слушать урок, чтобы хорошо ответить.

В нашей школе был еще один психологический метод воздействия, который запомнился мне надолго. Спустя некоторое время после начала учебы я оказалась на последней парте, которая считалась «ослиной партой», – на нее высаживались исключительно отстающие ученики. Когда мне это растолковали, во мне взыграло самолюбие, стало очень обидно, и я решила во что бы то ни стало доказать, что достойна другого места – на первой парте. Очень скоро я стала одной из лучших учениц в классе, и теперь меня для примера другим посадили на первую

парту – в знак поощрения.

Случай с «ослиной партой» сыграл, как я сейчас понимаю, решающую роль в формировании моего характера. У меня выработалось и закрепилось стремление к первенству, и с тех пор всю последующую жизнь я решаю одну и ту же задачу – как не быть серой посредственностью. Для этого пришлось упорно учиться у жизни и у людей, с которыми сводила судьба.

Когда я была маленькой девочкой, руки мои покрывал густой золотистый пушок. И женщины нашего шахтёрского посёлка не раз мне говорили: «Верная примета: быть тебе богатой и любимой людьми». Мне в это не верилось, потому что во французской школе, пусть редко, но меня били по рукам линейкой.

Картины детства остались в моей памяти как воображаемые фотографии. Настоящих фотографий мало, но память словно сама выбирает моменты, незримо фотографирует их и отпечатывает. Уже и война давно кончилась, умерли папа и брат, и семья наша переехала в Польшу, а перед моими глазами все вставала сельская дорога, по которой я, совсем еще ребенок, шла к моим бабушке и дедушке одна. И ведь не боялась. Почему – не знаю. Помню запах пережженных под солнцем трав, горечь воздуха, едва уловимый аромат незнакомых мне кустарников, на которых росла мелкая красная ягода. Мама запрещала срывать ягоды без разрешения – в округе было много ядовитых кустарников. И как цветной всполох – справа от дороги длинный барак, бабушка, стоящая на пороге и глядящая на меня из-под руки. Что могла понять детская душа? Мало. А вот почувствовать – другое дело. Меня окружали честные, небогатые люди, для которых хлеб насущный был основной заботой, но странное дело – повседневный тяжкий труд не делал их черствыми и жестокими, наоборот. Бедность, которая меня окружала, не была чем-то постыдным. Чем ты беднее, тем меньше тебе нужно было для счастья.

Счастье, что оно такое? Неуловимый миг, солнечный зайчик на кирпичной стене, или ощущение внутри тебя, что вот-вот все изменится, что будет светлее, теплее, что близкие твои встанут из небытия, улыбнутся, протянут к тебе руки и согреют тебя. Куда бы потом я ни уезжала, кто бы ни был рядом со мной, я всегда хранила в себе эти невидимые снимки прошлого. Они придавали мне сил и уверенности: что бы ни случилось, в ином мире есть души, которые молятся за меня.

Вспоминая свое детство, наполненное голодом, страхом и неизвестностью, я ищу ответ на вопрос: были ли в нем минуты абсолютного счастья? Было ли нечто такое, что помогало мне оставаться ребенком, несмотря на траур, который мама носила

сначала по отцу, потом по сыну, и туберкулез, поселившийся и в моих легких, слава богу, мне удалось вылечиться? И, да, моменты счастья были. Может, не всегда они были счастьем, но то были минуты, когда уходило напряжение, когда я ощущала, как с души спадает камень…

В жизни было две радости: когда мама брала в руки мандолину и мы с ней тихонько напевали старые польские песни, и поход в костел. Там мне нравилось все: торжественный полумрак, запах воска, звуки органа и проникновенный голос священника… А главное – собственное состояние, возвышенное, легкое, от которого хотелось то плакать, то петь. Не с подружками и не с мамой, а с иконой Божией Матери я впервые поделилась своей мечтой: «Хочу стать учительницей».

По воскресеньям мы с мамой ходили в костел, и это было истинным праздником. Помню свой первый приход: мы вошли, запел хор, я стала подпевать, и возникло необычайное чувство слияния моего голоса с хором. Меня всегда завораживала атмосфера костела: благородное внутреннее убранство, но в то же время строгое, без излишеств, широкий центральный проход, торжественный, приглашающий туда, где в смирении и чадолюбии на приходящих смотрит наша Заступница – Дева Мария. Нравилось смотреть, как мама наряжается в костел. Для нее это тоже был особенный день, она ведь не только ходила молиться – в костеле она пела, и, сидя на первой скамье, я закрывала глаза, чтобы в многоголосье хора услышать её красивый глубокий голос. В этот день наши молитвы о мире и здоровье близких были особенно истовыми, мы верили, что Господь под сводами своей земной обители не может не услышать нас.

Бывало так, что в воскресный день мы шли с мамой по улице и навстречу попадалась нарядно одетая женщина. В послевоенное время это было нечастое явление. И мама говорила: «Смотри, какая красивая тётя, как артистка». Да, это простые люди так считают, что артист должен быть красивым. Когда-то в том далёком моём детстве я и представления не имела, кто такие артисты. Я просто любила петь, как пела моя мама, как, впрочем, поют многие люди для себя, дома, когда у них хорошее настроение или грустно…

В моем детстве было много одиночества, ведь после смерти папы и брата мама много работала, и я часто оказывалась одна. Уходя на работу, она закрывала меня в комнате на ключ. Как любой ребенок, оставшийся один, я придумывала себе мир, где есть мама и папа, где мама читает вечерами сказки и на столе всегда стоит еда, а на улице нет войны и никто никого не

расстреливает. Помню, одной из забав той поры была игра в волшебную фею, которую я искала на шкафу и для которой я придумывала самое главное желание – то, о чем попрошу её, когда найду…

Но больше всего мне тогда хотелось мира, любви и красоты. Поэтому, став артисткой, всё, чего мне не хватало тогда, я стала дарить людям. И если я пою песни о доброте, о красоте, так это потому, что у меня в детстве этого не было. И если я стала выступать на сцене в красивых платьях, так это потому, что у меня, маленькой, их не было.

Конечно, настоящим праздником было Рождество. До сих пор храню молитвенник, в котором есть песни по случаю Рождества, как самую дорогую вещь для меня. Представьте себе двадцать тысяч жителей шахтерского поселка, которые почти

одновременно направлялись в костел, а там играл орган, горели свечи, и все как один пели славу Христу. У меня, ребенка, было ощущение, что стен у костела в этот день вообще не было, потому что все, кто не поместился, стояли на улице и восторженно пели. Никакие другие впечатления моей жизни не смогли затмить этой картины. После службы люди шли домой на рождественский ужин, моя мама всегда готовила карпа. Под елкой каждый находил себе подарок, сотворенный волшебными руками моей мамочки. Она прятала их обычно в сапог из папье-маше.

Игрушек у меня не было, как и постоянных обновок, красивых туфелек, платьиц, украшений, но никогда не возникало желания попросить родителей купить мне куклу или какую-нибудь безделушку. Да, это было время печали, потерь, бедности, страха, но ребенок так устроен, что даже в пору лишений он способен черпать положительные эмоции из какой-нибудь малости.

В 1945 году закончилась война. Это стало первой большой радостью моего детства. Еще во время войны, когда начинала выть сирена, учительница собирала нас, как цыплят, и мы бежали со всех ног в бомбоубежище. Бомбежки длились подолгу, делать было нечего, и вместе с учительницей мы разучивали «Марсельезу», правда, при этом она нам говорила: «Когда выйдем отсюда, никому не говорите, это будет наш секрет…» И мы хранили этот секрет, потому что понимали – это серьезно, а в войну даже дети становятся серьезными.

Но однажды мы пришли в школу, и наша учительница сказала: «Дети, только что объявили – война закончилась! Теперь бегите на улицу и очень громко, насколько хватит сил, пойте ту песню, что мы с вами разучивали». Стоит ли говорить, что я была в первых рядах. И пела так громко, что мой голос перекрывал все остальные голоса. И так произошло, потому что пела моя душа! Хотя прошел не один десяток лет, то чувство ликования во мне живо до сих пор. Так получилось, что исполнение «Марсельезы» стало моим первым публичным выступлением, и ведь какой радостный повод был! Мой детский неокрепший голос разносился над площадью, ликовал весь городок, весь департамент. Это был Праздник праздников. Окончание войны сулило счастливые перемены. И они произошли, но, правда, не такие, каких хотелось.

Польша

Мой отчим, ярый коммунист, неожиданно решил, что наша семья должна вернуться в Польшу – «к своим корням». Он просто был одержим стремлением построить там социализм. Жизнь во Франции, работа на хозяина шахты представлялась ему великой социальной несправедливостью. И почему-то именно Польша, по его мнению, была тем местом, где возможна счастливая жизнь.

Понятное дело, что меня никто не спросил, хочу ли я переезжать в Польшу, а мама моя, как и было заведено в простых семьях, во всем подчинялась мужу. К тому же во Франции её ничто не держало, хотя сестра Ирэна была категорически против: «Зачем ты поедешь туда, к этим коммунистам, что тебя там ждет?» И услышала ответ отчима: «Мы должны оставаться здесь ради куска колбасы, который ты бросала, как подачку, нашему сыну?» Да, Ян Голомб был простой мужик, но голова у него хорошо работала.

Мы быстро собрались, взяв самое необходимое, и сели в поезд, в товарный вагон, по направлению к Судетам. Ехали долго, девять дней, удобств никаких, еда закончилась быстро, даже с учетом того, что мы её экономили, последние дни сидели на воде. Представляете: женщина с грудным ребенком и восьмилетней дочерью, в грязном товарном вагоне, где даже сидячих мест не было!

По дороге случилась неприятная вещь: во время одной из недолгих остановок на станции отчим вышел и стал делиться с незнакомыми людьми своими коммунистическими идеями. А дело в том, что в освобожденной послевоенной Польше было много банд УПА, и когда отчим начал распространяться о своих политических предпочтениях на перроне, его слушателями оказались именно они. Им его речи не понравились…

Не знаю в точности, что случилось, знаю, что он пропал на несколько дней и появился ободранный, голодный, избитый. Мама страшно переживала эти дни, пока его не было. Жуткое состояние: женщина с двумя детьми приехала в страну, где у нее нет ничего, а её муж по дороге исчез. Как мы поняли потом, его схватили бандиты и хотели убить за коммунистические высказывания, но ему удалось от них убежать.

Мы сошли в Судетах, это были земли Нижней Силезии, которые после войны забрали у Германии и присоединили к Польше, поэтому все городки той земли имели немецкие названия. И городок, в котором осела наша семья, Богушев, по-

немецки назывался Gottesberg-Rothenbach – «Божья Гора». Был он крошечный – пять улиц, ратуша, костел. Жили в нем всего 30 тысяч, в основном шахтеры, работавшие на местной шахте «Барбара». Там все время ждали новых рабочих, и вскоре отчим стал одним из них.

Нам досталась квартира одной немецкой семьи, спешно уехавшей из Польши. Это уже был не дом, как во Франции, а именно квартирка: три комнаты, шкафчик, комод, сервант и еще какая-то мелкая утварь, которую прежние хозяева не успели забрать. К счастью, там оказалась лампа, и с её помощью я могла по вечерам читать. Но отчим ругался, если в комнате долго горел свет, кричал: «Ты жжешь электричество, а за него платить надо…» Также он считал бесполезной и мою учебу. Будучи безграмотным, полагал, что для женщин грамота вообще лишнее дело: «Только бездельники книги читают…»

Обстановка в Богушеве была тревожная: отчим ходил на ночные смены с тряпичной сумкой, а в ней – чурка из дерева, несколько раз ему приходилось пускать её в ход. Позже, когда началась учеба в лицее, тоже был страшный случай, запомнившийся надолго. Мы шли к поезду, надо было пройти 3 км пешком по бездорожью, вокруг было полно милиции, стояло много людей. Оказалось, директора шахты, коммуниста, забили камнями ночью, когда он возвращался домой. Сказать, что милиция активно боролась с местными бандитами, которые не хотели мириться в победой Советского Союза во Второй мировой, не могу. Единственным спасением оказались советские солдаты, оставшиеся после освобождения Польши. Никаких инцидентов с ними никогда не было, наоборот, местные говорили, что именно они охраняли жителей от банд УПА, прятавшихся в местных лесах. Отчиму даже приходилось изнутри подпирать дверь в наш дом огромным бревном, дом был трехэтажный, мы жили на первом этаже, чтобы никто не мог войти. Страшно было.

Отчиму долгое время казалось, что в коммунистической Польше мы заживем, как «белые люди», но очень скоро пелена стала спадать. Дело дошло до того, что он выбросил свой партийный билет со словами: «Вор на воре сидит, вором погоняет»…

В Польше ему приходилось работать не меньше, чем во Франции. Днем работал на шахте, а вечером занимался подсобным хозяйством, чтобы на столе была еда. В подвале нашего дома завел кур и кроликов, резал их редко, только на праздники. Когда это происходило, мне доставался кусочек грудки, а себе и сыну он брал самые вкусные части.

Итак, Польша, 1946 год, маленький город Божья Гора, шестьсот метров над уровнем моря, замечательный климат. Я была довольно болезненной. Мама боялась, что я заболею туберкулёзом. Брат умер от чахотки в семнадцать лет, и меня начали лечить. Каждое утро я получала взбитое яичко – гоголь-моголь, стакан тёплого молока с маслом, чтобы смазывать горло и не кашлять. Всего этого я не видела во Франции, там был голод, были только постные супчики, которые варила мама…

Семья формируется в зависимости от того, где она находится. Моя семья формировалась в трудных условиях, в атмосфере войны. Меня закалили трудности до такой степени, что мне было ничто не страшно, и по сей день я знаю, что в любой момент выйду из положения, в жизни нет безвыходных ситуаций. Я всегда поднимаю глаза и говорю: «Боженька, помоги, всё будет хорошо!»

Я знаю, что и моей маме было трудно, и всем людям, которые узнали вкус войны. И я знаю: трудное детство – это не самое страшное.

Еще в нескольких минутах ходьбы от дома, почти на окраине городка, у нас был небольшой участок земли, там отчим высаживал овощи – картошку, свеклу, морковку. Для продажи их не хватало, все шло на стол. Вообще, он умел обращаться с землей, но и огорода ему было мало. Он все время пытался организовать какой-нибудь приработок. После смерти папы и брата мне назначили сиротскую пенсию. Мама добилась её перевода в Польшу, так накопилась вполне приличная сумма. Отчим попросил маму снять эти деньги и купил лошадь, чтобы развозить на ней уголь. Но продолжалось это недолго: в один из таких развозов у него случился перитонит, больница обошлась дорого – лошадь пришлось продать, и после выхода из больницы он уже этим не занимался.

В Богушеве я пошла в местную школу. Добираться до нее было неблизко: она находилась в верхней части города, на возвышенности, крутые улочки шли на подъем. Поэтому зимой в школу я всегда брала с собой санки, чтобы после уроков просто сесть на них и скатиться вниз! Чувство захватывающее: снег в лицо, ветер в ушах – красота! Позже санки сменили лыжи, а летом и в школу, и из школы мчалась обычно бегом.

Этот подъем в гору стал олицетворением моего тяжелого пути. Трудности начались с первого дня: я говорила по-французски и по-немецки, немного по-польски, но не знала этот язык так хорошо, чтобы получать высшие оценки. Возникли проблемы с общением, меня посадили на последнюю парту, на этой почве развился сильнейший комплекс неполноценности. Никто меня не жалел, приходилось брать себя в руки.

А тут еще волею судьбы я оказалась в положении старшей сестры. Мой сводный брат Йозеф родился в год окончания войны. Отчим его безумно любил, баловал, все ему прощал, жутко ревновал, когда мама пыталась приласкать меня, погладить по голове, поцеловать – отчим сразу кричал, что она любит меня больше, чем их общего ребенка. Брат быстро понял ситуацию, почувствовал себя любимчиком и стал этим пользоваться. А я ощущала себя чужой в родной семье.

Не способствовала нашему сближению и большая разница в возрасте – 8 лет. Я была старшей сестрой, на которой лежала обязанность ухода за младшим братом, не могу сказать, что мне это нравилось. Больше всего времени мне пришлось уделять ему здесь, в Польше. Мне было уже двенадцать лет, Йозефу – четыре года. После школы мы с подружками всегда находили возможность куда-нибудь убежать – в поля или на соседние улицы, где можно было поиграть в нехитрые игры, пообщаться с ребятами из другой школы – в общем, были какие-то радости. Но чаще всего они касались всех, кроме меня: мне приходилось за ручку выгуливать братика, ведь мама занималась домашними делами, отчим был на работе. Конечно, я сердилась, однажды даже выместила злость на нем.

У нас в доме была большая печка из кафеля, я посадила его туда, сказав: «Вот сиди здесь и реви, сколько хочешь», – дело в том, что он был очень капризный, чуть что – сразу слезы и крики. «А если не боишься, соскочи оттуда сам». Он побоялся спрыгнуть, и когда отчим вернулся домой, пожаловался ему. Ох, как мне тогда досталось!

Чуть полегче стало после моего поступления в лицей. Гулять с братом уже было некогда, кроме учебы появился хор, подружки, первые влюбленности.

Йозеф вырос высоким, под два метра, его взяли в полицию.

Он долго там проработал, сейчас уже пенсионер. Мы никогда не обостряли наши с ним отношения. Когда ушла мама, я старалась выполнить её последнюю волю: «Не забывай брата, ты ведь знаешь, какой он беспомощный». Звонила ему, даже предложила приехать на Рождество всей семьей, с женой и детьми, сказала, что оплачу дорогу туда и обратно. Он не смог приехать или не захотел.

В школе мне очень нравились уроки физкультуры, вспоминаю их и по сей день. Особенно те, что проводила пани Скробецка, даже фамилию её помню спустя столько лет. Она преподавала физвоспитание в педагогическом лицее, куда я поступила после седьмого класса. Уроки проходили раз в неделю, но не 45 минут, а четыре часа подряд, чем только мы не занимались! Но главное даже не чем, а как. Пани Скробецка постоянно что-то придумывала, чтобы заинтересовать нас. Мы уходили с её занятий взмокшие, безмерно уставшие, но счастливые. Могу похвастаться: я на тех уроках всегда была в числе лучших. И то, что люблю спорт, активный отдых – это оттуда, из детства.

Где-то до пятого класса я часто плакала. Любая мелочь вызывала у меня обиду. Но главной причиной было то, что в Польше я оказалась в абсолютно новой для себя языковой среде, где все говорили по-польски. Отношения с этим языком у меня были сложные, знала я его плохо, даже несмотря на то, что говорила на нем с мамой, правда, совсем немного. А на улице и во французской школе только на французском. Я прихожу в польскую школу, меня о чем-то спрашивают, я не могу ответить. Более того, система обучения во французской и польской школах разная. Во французской уроки на дом не задавали, мы их делали прямо во время перемены, а в польской все иначе – целый ворох заданий, которые надо выполнять дома, а утром приходить и отвечать урок. Пыталась обращаться за помощью, но никто мне не мог ничего объяснить, даже мама. Вызывают к доске, я стою и плачу. Но я все время молилась, и Господь послал мне чудесного человека – в четвертом классе на меня обратила внимание учительница пани Станислава Кухальска, светлой души человек. Она прониклась ко мне особым участием, чем-то я ей понравилась, приветила меня, поверила в то, что я смогу все наверстать, а ведь это так важно, когда в тебя кто-то верит! Она столько со мной возилась: объясняла, что к чему, как лучше сделать домашнее задание, что нужно, чтобы лучше запомнить текст, особенно бесценной была её помощь с польским языком. Благодаря ей выяснилось, что у меня очень приличные способности к иностранным языкам, просто надо было правильно подойти к процессу изучения. Как только ушло психологическое

напряжение, все стало получаться, и не только с польским языком, но и с остальными предметами. Я прямо-таки молилась на пани Кухальску, она обращалась со мной, как со своей родной дочерью.

Первое причастие.
Я в белоснежном платье, как невеста.

В пятом классе все стало постепенно налаживаться, у меня

появились хорошие оценки, улучшилось настроение, возник интерес к учебе. Но однажды пани Кухальска заметила, что я прихожу в школу с грязными тетрадками, а это было непозволительно, за этим следили, и несколько раз мне даже написали выговор из-за этого. Станислава спросила, почему так происходит, ей даже в голову не пришло, что я сама могла их испачкать. И я призналась, что это происходит по вине моего младшего брата, который часто, когда я делала уроки, грязными руками вырывал у меня тетради и бегал с ними по дому. Он не учился и не понимал, что то, чем я занимаюсь, серьезно. Сколько бы я ни пыталась ему это объяснить – он не понимал! Для него все было игрой, к тому же он рос избалованным ребенком, которому ничего не запрещалось.

Чтобы хоть как-то помочь мне и смягчить ситуацию, пани Кухальска стала приходить к нам домой, говорила с отчимом, объясняла ему, что детей бить нельзя, а он любил это занятие, особенно когда считал, что я в чем-то провинилась, и что нужно следить за сыном, который пачкает мне тетради. Её вмешательство помогло. Я так её любила! Ведь она меня приголубила, отогрела, научила любить книги, рассказывала много интересных вещей. Она словно разбудила меня – я стала петь в хоре, увлеклась спортом, почувствовала себя более уверенно, научилась радоваться жизни. Безмерно благодарна ей за все, что она для меня сделала. Её любовь пробудила мою собственную любовь. Видя, сколько любви пани Кухальска вкладывала в меня, я решила, что тоже буду, как она – любить. И сказала самой себе: «Вырасту и буду учительницей, чтобы любить и учить детей, как моя учительница».

Но, как говорится, Бог дал – Бог взял. Мое счастье было недолгим. Так случилось, что довольно скоро Станислава решила уйти в монастырь. У нее начались какие-то проблемы с советской властью – дело в том, что она была очень набожная. Родных и собственных детей у нее не было, и единственной опорой в жизни для нее стала вера. Мы знали, что она постоянно молится и ходит в костел. Дети даже говорили о ней, как о почти святой. Детали мы так и не узнали, но однажды пришел пан директор и сказал: «Дети, ваша учительница, пани Кухальска, решила посвятить себя Господу нашему…» Так все узнали, что она уходит в монастырь. Провожал её весь наш городок. Да, она была чудесным человеком,

таких мало. Спустя годы мне удалось узнать, что её похоронили под Ченстоховом (Czynstochowy – город на юге Польши, в Силезском воеводстве, духовная столица страны, место паломничества. – *Ред.*). Очень хотела приехать к ней на могилу, поклониться, поблагодарить, ведь если бы не она, не знаю, как бы все обернулось. Но не смогла, не получилось. Сегодня даже её могилы не осталось, сколько времени прошло. Да, вот так уходят люди… Но они живы, пока мы их помним…

Но даже в то непростое время бывали эпизоды совершенно необъяснимой радости. Вот один из них, очень запомнившийся. Однажды возвращаюсь домой из школы, уставшая, расстроенная, слезы к горлу подступают, случилась какая-то неприятность, уже не помню, что именно. И вдруг слышу свист откуда-то сверху, и почти сразу после него в голубое небо взмыла стая голубей. Я остановилась, задрала голову и замерла, как зачарованная, – картина была редкая по красоте: нежное фарфоровое небо и грациозные голуби, парящие в его просторе. Сразу забылись неприятности, ушла из сердца тяжесть, стало так легко! Это было почти счастье. И мне захотелось так же поднимать голубей в небо удалым свистом. Бегом поднимаюсь на чердак, а там мальчишки сидят местные, смотрят на меня сверху вниз и говорят: «Ты девчонка, ты так не сможешь, чтобы голуби тебя слушались, научись свистеть чисто, громко…»

И вот как на крыльях лечу домой, вбегаю в дом и с порога кричу: «Мама, мне надо научиться свистеть. Я буду гонять голубей!» Мамочка моя за голову схватилась: «Не нужно свистеть, доченька, денег не будет!» Она тогда не поняла, что к чему. Но свистеть я все равно научилась, хотя дома никогда не свистела, чтобы маму не расстраивать. Кстати, деньги я смогла заработать сама, и мое умение поднимать в небо голубей никак этому не помешало, зато это мгновение жизни подарило мне ощущение детской радости, оно было так важно для меня. Мы не были избалованы счастьем. С той поры, когда мне очень-очень хорошо, иногда я позволяю себе и на сцене засвистеть, а мои зрители, которые знают меня и эту историю, все понимают, не обижаются. Я ведь свищу не потому, что не уважаю их, просто это напоминает мне то яркое впечатление детства, когда душа моя была подобна голубю, взмывшему в ясное голубое небо…

Были ли у меня в детстве игрушки? Что вы, не было даже самой плохонькой куклы, я не знала, что это такое. Во время войны мы жили впроголодь, как и все остальные. В первый раз я попробовала яблоко только в девять лет. Вместо витаминов во Франции детям давали красное вино, смешанное с водой. До сих пор во мне живёт недоигранное и голодное детство, для меня не

существует понятия «я этого не ем», считаю грехом оставлять еду на тарелке или выбрасывать. Мне не справляли ни одного дня рождения до Советского Союза, самыми большими праздниками для нас были Рождество и Пасха. Под рождественской ёлкой каждый находил себе подарок, сотворённый волшебными руками моей мамы, – платочек, шарфик, шапочку. Я помню День Матери, который отмечается первого июня. Тогда я экономила каждый су (самая мелкая монета во Франции. – *Ред.*) и купила маме в подарок простенькую стеклянную вазу. Мама бережно хранила её до последних дней жизни.

Иногда в наш городок приезжал бродячий цирк с аттракционами. Самым любимым для меня были качели, они были похожи на лодочку. Я просила у мамы денежку и бежала кататься. Какие чувства они у меня вызывали! Восторг, полет, замирание! Ты взмываешь над твердью и оказываешься в царстве воздуха, как в небесной реке. Где-то под сердцем невидимыми крыльями бьет маленькая птичка, и это трепетание то опускается в живот, то поднимается почти к горлу. Я раскачиваюсь все сильнее, небо отдаляется от меня, словно хочет сбежать, но секунду спустя летит мне навстречу, обнимая меня своей бесконечной лазурью. Зажмуриваюсь, и кажется, что я в колыбели, которую качает рука родного человека… Как мне было легко в такие минуты, страхи отступали, вместо них вырастало чувство, будто мне подвластно все, и я говорила себе: «Мне не страшно, я сильная, у меня впереди жизнь – ясная и полноводная, как это чистое небо…»

Кто занимался моим воспитанием? Пожалуй, лишь польская школа, где на уроках религии священник объяснял, что нужно уметь любить и терпеть ближнего, что такое хорошо, а что плохо.

Помню, подружка повела меня в кафе поесть мороженое. Там были такие красивые крохотные ложечки, и мы никак не могли с ними расстаться, прихватили с собой, а потом, на уроке религии, я узнала, что это тяжкий грех – брать не своё. Боже мой, как же мы переживали! И когда наконец удалось «подсунуть» эти ложечки обратно, вздохнула с облегчением: теперь мы «очистились» и уже не воровки.

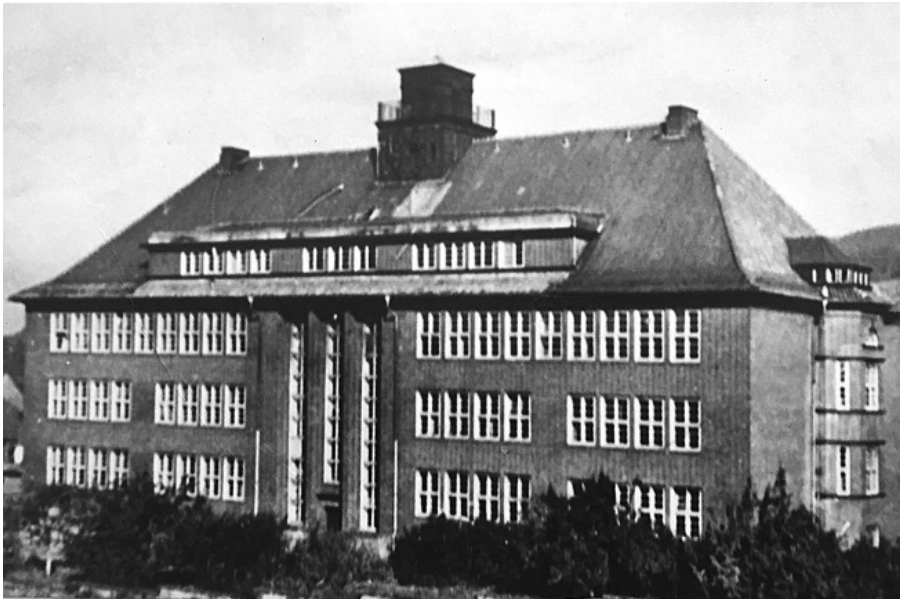
Французское детство было чёрное и грустное. Польское детство – это уже солнце, достаток в доме, это мама, которая стала улыбаться, это солнышко, которое сияло в Судетах каждый день. Это санки, нарды, лыжи, коньки, я стала спортсменкой, стала нормально развиваться. Вообще в школу мы ходили с большим удовольствием, у меня завелись подружки. А в третьем классе я подружилась с Ханкой Замужневич, Ханей, как я её называла. Мы с ней вместе сидели за одной партой, потом вместе поступили в педагогический лицей, она хотела стать учительницей, как и я.

Спустя много лет Ханка уже с мужем и дочкой приезжала ко мне в гости. Они хорошо провели время здесь, и в Москву я их свозила. Потом они уезжали домой такие счастливые: «Мы у тебя в долгу». В каком долгу? Ведь раньше было так, что семья Ханки жила богаче, чем наша, и никогда не забуду, как через забор кричала маме Ханки: «Пани Юстина, я есть хочу!» Она всегда меня подкармливала, в детстве я была худющая-худющая,

длиннющая-длиннющая…

Закончив школу, я сказала отчиму, что буду поступать в лицей: мне все еще хотелось стать учительницей, как пани Станислава. Услышав об этом, он заявил, что мое место на фабрике. «Не буду тебя больше кормить, тебе уже 16 лет, сколько можно бездельничать?!» Тогда я ему ответила: «У меня будет стипендия». Самое интересное то, что не было точно известно, буду ли я действительно ее получать, и когда это сбылось, отчим спросил маму: «Фелиция! Где она деньги взяла?» Мама объяснила: «Понимаешь, Ян, она хорошо учится, и государство ей помогает – платит за это деньги». Только тогда он успокоился. Но все равно продолжал меня «воспитывать». Мой поезд, на котором я ездила в колледж, часто опаздывал, и не на 10–20 минут, а на час и более. Подобные опоздания были для меня мукой, потому что дома встречал отчим с ремнем. Прихожу, а он: «Где шлялась?!» Говорю: «Поезд опоздал. Можете на вокзал сходить спросить». Он: «Я тебе не верю. Поди, с мужиками где-то была?!» И побил «на всякий случай, чтобы курвой не выросла»… Бил ремнем по ногам, мама плакала. А я говорила себе: «Я – Зоя Космодемьянская». Он кричал: «Вот видишь, она даже не плачет, потому что она виновата!» Но зато с той поры я закаленная, даже про свою жену, мою маму, отчим говорил, что женился на ней только потому, что она родила двоих детей и ему родила сына, так что, по его мнению, не успела стать гулящей.

В педагогическом лицее я училась до 1955 года. Каждый день ездила на поезде Богушев – Валбжих. От поезда до лицея надо было еще идти пешком 10–15 минут, но меня это не тяготило, к тому времени учеба нравилась, появился стимул – очень хотелось стать учительницей. В конце каждого учебного года, летом, на практике, много общалась с детьми самых разных возрастов, связь между нами налаживалась сразу: мне было легко с ними, им интересно со мной, никаких сомнений относительно будущей профессии не возникало.



Педагогический лицей в городе Валбжих.

Еще в лицее был хор. Руководил им дирижер пан Йосиф Шурко. Замечательный человек. Услышав, как я пою, он сказал: «Ты станешь артисткой…» Почему-то у него была такая уверенность. В хор мы записались вместе с моими подружками, с которыми познакомились еще в школе: Ханкой, Ириной, Гражиной. Все вчетвером ездили в лицей, с ними же проводили свободное время. В хоре я была вторым голосом, вместе с нами пели мальчики из техникума шахтеров. Там тоже был свой хор, и довольно часто мы пели вместе, особенно когда были какие-нибудь конкурсы. Так, помню, мы поехали во Вроцлав на местный конкурс и выступили настолько хорошо, что победили. Радость наша была огромной. Гуляли целую ночь по летнему Вроцлаву, но о романах речи не шло, тогда не было принято легко увлекаться. Симпатии были, влюбленности, но не более того. В свободное от учебы время мы с подружками ходили в кино, иногда в лицее бывали вечера танцев, вот тут-то мы отводили душу сполна, танцевали под пластинки. В основном под советские песни, но на польском языке. Этот же репертуар пели в хоре.

Считается, что когда тебе 16, наступает время любви. Меня часто спрашивают: помните ли вы свою первую любовь? По натуре я скрытная, если что и возникало, никому не рассказывала, но в маленьком городке, каким был Богушев, пять улиц, и на каждой меня знали, скрыть что-то было почти невозможно. Не дай бог, если меня провожал молодой человек, так об этом всю неделю говорили, и мама моя с утра вопрошала:

«Что ты с ним делала? Целовалась?» А я отвечала: «Нет, мама, не целовалась, я же знаю, что это грех».

Любовь… Тогда я разве знала, что это называется любовью? Увлечение. Это уже было в средней школе, в педагогическом лицее. Это было в Польше. Как я позже узнала, в меня был влюблён мальчик по фамилии Брода. Эугениуш Брода. Мальчик был красивый. Я не знала, что он за мной ухаживает: он мне подставлял ножки, вредничал, чтобы обратить на себя внимание, а много лет спустя, когда я стала артисткой, в 1964 году, в городе Вроцлаве на сцену выходит молодой человек, дарит мне зайчика и говорит: «Я тот самый Брода, который тебе подставлял ножки. Я уже взрослый, ты взрослая, как жаль, что наше детство закончилось». С тех пор этот зайчик всегда сопровождает меня во всех гастрольных поездках, занимая почётное место в кейсе с косметикой.

Из моих ранних влюбленностей больше всего помню мои страдания по Рышарду, но и это был не роман, а всего лишь мое воздыхание по нему. Мое воспитание не позволяло проявлять чувства к мужчине, и он, увы, не обращал на меня никакого внимания, что понятно – я была длинная, жутко худая, угловатая. Девушка-подросток, а та, за которой он ухаживал, имела уже формы, красилась вовсю, кокетничала, в общем, была женщинкой, хоть и совсем молоденькой. Я так и не призналась Рышарду.

Педагогический лицей я окончила с золотой медалью. Возник вопрос, куда идти работать? И вдруг по лицею разносится новость: объявлен конкурс – победители поедут на учебу в Советский Союз. Тут же подаю документы, мама в тревоге: она сразу поняла, что в случае победы потеряет меня. А я думала лишь об одном – как бы уехать из дома, в котором мной тяготятся. Нелюбовь отчима была все более заметной, поэтому мысль о том, что мне нужно войти в число победителей, не отпускала ни днем ни ночью.

Сперва нужно было пройти отборочные туры. Со всей Польши съехались желающие, при виде бесконечной реки конкурсантов у меня подкосились ноги, но отступать было некуда. Пройдя районный и воеводский (областной) туры, дошла до самого важного – третьего. Он должен был проходить в Гданьске. Отбор строжайший, принимали только хорошистов и отличников, я была в их числе, кроме прочего, мой язык был хорошо подвешен, я пела в хоре, считалась активисткой, меня даже избирали Председателем Союза польской молодежи. Ну, и конечно, занятия спортом оказали мне добрую услугу: на уроках физкультуры занимала первые места по легкой атлетике, в беге на 400 метров была первой, в прыжках в длину выдавала результат: 4 метра и 10 сантиметров – лучше, чем у всех.

Тур в Гданьске был решающим, поэтому готовились мы к нему целый месяц: жили на территории Гданьского университета, в общежитии, ходили на лекции по литературе, истории. Я, конечно же, записалась в хор. В хоре меня сразу заметили. На третьем туре должен был состояться экзамен по русскому языку, а мои успехи по этому предмету оказались минимальными. Спасло то, что преподаватель по русскому языку воспылала ко мне симпатией, чем очень мне помогла. Почему, не знаю. Можно сказать, она поставила мне высшую оценку, как говорят, «за красивые глаза».

Также третий тур включал в себя экзамены: сочинение, написала я его неплохо, и экзамен по истории. Достался мне билет про битву при Грюнвальде. Это особая страница в истории Польши – крестоносцев никто не мог победить, только полякам это удалось. И я не просто рассказала эту историю, а разыграла перед комиссией целый спектакль: показала в лицах, как польские рыцари на лошадях, одетые по всем правилам боевого искусства, шли на врага, а перед этим спешивались, вставали на колени и запевали католический гимн воинов. Тут крестоносцы, закованные в латы по самое горло, вдруг взяли и тоже запели что-то свое. Меня спросили: «Что же пели крестоносцы?» Я замешкалась, выдержала паузу и, подумав, озвучила: «Deutschland, Deutschland, über alles» – гимн гитлеровских солдат… В комиссии наступила гробовая тишина. Наконец председатель произнес: «Эрудиция ваша хромает, но с воображением и интеллигентностью у вас все в порядке». В конце моего представления вся комиссия рыдала от смеха. Даже несмотря на мой промах с гимном. Так я вошла в число счастливчиков, кого допустили до учебы в СССР.

Когда я объявила дома, что уезжаю в Советский Союз на учебу, отчим только и сказал: «Ну, слава богу, одним ртом меньше». Сам собрал мне чемодан, кстати, начал он его складывать еще за месяц до объявления результатов, видимо, очень хотел, чтобы я уехала. А когда стало понятно, что победа за мной, по этому случаю мне даже пальто сшили из драпа на ватине у местного портного, ателье в нашем городке не было.

Мама, провожая меня на вокзале, плакала. До сих пор помню её глаза, как она на меня смотрела… С собой на память я взяла её любимую праздничную скатерть и обручальное кольцо, которое мой папа подарил ей в день венчания. Эта скатерть, заштопанная мамиными руками, хранится у меня и сейчас. Она всегда накрывала этой скатертью стол на Рождество. И я тоже.

Да, мама понимала, что я не вернусь, она так и сказала, стоя на перроне: «Ты не вернешься». Я не вернулась жить в Польшу, но часто возвращалась к ней, навещала, уже живя в Ленинграде.

Москва

В поезде «Варшава – Москва» я почти не спала. Сколько было мыслей тревожных и одновременно радостных. Сбылась моя мечта: я покидала дом, где отчим попрекал меня куском хлеба, не любил. Единственная, о ком я все время думала, была моя мамочка. Я-то уехала, а она осталась там, с нелюбимым человеком. Но, с другой стороны, у нее был сын Юзеф, который был её ребенком так же, как и я. Ей было ради кого жить.

А я с другими польскими ребятами, победителями конкурса в Гданьске, приближалась к новой жизни. Вот уже и огни Ленинградского вокзала, проход по вагону, тамбур и… перрон. Шаг по земле страны, которая станет для меня второй родиной. Здесь меня ждала неизвестность, но я была благодарна судьбе за ту возможность, что она мне дала. Может быть, кто-то считает, что 18-летние девушки наивны. Но нет, я такой не была, понимала: никто не будет гладить меня по головке. Всего надо добиваться, пробираться сквозь преграды, не ждать милостей и подношений. Уже тогда моим девизом было: «И каждый день всё сначала». Каждый день открывать для себя что-то другое, подниматься, преодолевать самого себя. Человек существо живучее. Как лава в вулкане, он все время бурлит, и что-то происходит в его душе, в его сердце. У меня не было иллюзий, что вот теперь-то, в СССР, мне раскроют объятия и начнется привольная жизнь.

Все время думалось, какой непростой жизнью обернется для меня эта победа на конкурсе в Гданьске. Понимала, что русского языка не знаю, а овладеть им надо. Для этого необходимо общаться с его носителями, но моя природная стеснительность создавала трудности в общении. Ступив на московскую землю, тем не менее сердцем я была с другим городом – Ленинградом. Меня прямо тянуло к нему. Знать о нем ничего не знала, только лишь помнила по картинкам в журналах, где были изображены Эрмитаж, Петропавловская крепость, Адмиралтейство… Это были всего лишь картинки далекого города, но уже тогда, в Польше, я смотрела на них и предвидела, что, возможно, когда-нибудь буду жить в нем.

Прямо с вокзала в Москве нас отвезли в общежитии МАИ, что в Головановском переулке. Стояло лето, июнь, жуткая жара. Наша группа состояла из победителей со всей Польши и была довольно большой. Вместе мы чувствовали себя немного уверенней, особенно когда выходили на улицу. Москва оказалась настолько огромной, что большинство из нас просто боялись потеряться,

ведь в основном все мы приехали из маленьких польских городков. К тому же к нашей группе были прикреплены серьезные люди, сопровождавшие иностранных абитуриентов, вы понимаете, с какой целью. Так вот, эти серьезные люди сказали сразу: «Москва большая, гулять по ней не рекомендуем…» Мы все поняли. И не гуляли. Кстати, опять ирония судьбы: в 2008 году, будучи уже известной артисткой, судьба снова забросила меня в эти места – правительство Москвы предоставило мне право выкупа квартиры на улице Часовой, совсем рядом от первого моего места жительства в СССР!

Пробыли мы в Москве недолго, через несколько дней началось распределение, и я сразу выбрала Ленинград. Хотела поступать в институт им. Герцена, еще была верна намерению стать учительницей, и вдруг мне говорят: «Набора в институт Герцена на факультет психологии нет». В первый момент был шок, вот это неожиданность! Казалось, что рок препятствует мне, честно говоря, не была к этому готова, но судьба тут же подкинула шанс – в том же 1955 году отделение психологии открылось на философском факультете Ленинградского университета. Так я сделала важный для себя выбор и сказала сама себе: «Я буду учиться в Ленинградском университете!»

Позже меня часто спрашивали: почему я выбрала психологию? Все очень просто: мне хотелось постичь душу маленького человека – ребёнка, ведь сама я выросла в нелюбви. Поскольку у меня не было счастливого детства, возникло желание иметь возможность стать защитницей таких малышей, помогая не только им, но и их родителям.

И снова поезд, ночная дорога «Москва – Ленинград», бессонница под стук вагонных колес… Волнующая неизвестность: что будет, как будет, сбудется ли? Но юность обладает удивительной силой веры, она, словно невидимый стержень внутри, не дает сломаться под тяжестью сомнений. Стремление вступить в завтрашний день, вырваться из прежней жизни, расправить крылья всегда было моим подспудным желанием. Военные годы, проведенные взаперти – тому, кто такое не пережил, не понять, – оказали на меня серьезное воздействие. Война – это ведь не только бомбежки и голод. Это постоянный страх. В нашей шахтерской колонии были очень разные люди и по национальности, и по характеру: чехи, русские, украинцы, алжирцы, поляки – каждый из них боялся за свою жизнь. Говорили вполголоса, ничем друг с другом не делились, тебя могли «продать» за кусок гнилого сыра и бутылку кислого вина. Все эти люди, жившие бок о бок с нами, были такими же заложниками ситуации, как и наша семья. Все боялись друг

друга, держали язык за зубами, даже детям родители строго-настрого наказывали не болтать с ровесниками.

Когда война кончилась, я ощутила себя птичкой, вылетевшей в комнату из клетки, а когда дремала в полусне на нижней полке поезда «Москва – Ленинград», почувствовала: двери комнаты, где стояла клетка, распахнулись, перед птичкой – целый мир. Но куда она полетит и хватит ли ей силы крыльев на большие расстояния – зависит только от нее.

Ленинград

И вот сбылось первое мое важное желание. Сойдя с поезда, пересекая перрон Московского вокзала, я уже почувствовала, что на этой земле моя судьба окажется более счастливой. До сих пор, спустя не один десяток лет, я помню то сильное чувство восхищения, что накрыло меня с головой, когда Ленинград предстал передо мной во всей своей величественной красоте.

Словно старинная шкатулка распахнулась. Да, встреча, о которой так долго мечталось, произошла! После маленьких Нуайель-су-Ланс и Богушова мне показалось, что я перенеслась в иной мир. В отличие от Москвы, облик Ленинграда казался благородно-старинным, словно он до сих пор хранил на своих мостовых следы шагов Пушкина.

Первое время я все ходила в каком-то счастливом недоумении, казалось, что я сплю и вижу сон – Эрмитаж, Русский музей, Петропавловская крепость, Адмиралтейство – все эти архитектурные памятники, виденные мной неоднократно на страницах журналов, вдруг обрели реальное воплощение. Одно дело, когда смотришь на плоское изображение, и совсем другое – когда стоишь у Александрийского столпа и видишь прекрасный Зимний дворец. У меня в голове вертелась мысль: «Я – здесь, иду по брусчатой мостовой, чувствую запах каналов и рек, вижу даль набережных, и ощущение, будто это сказка, не проходит…»

Мытнинская набережная, дом 5. 1956 год.

Ленинград подарил мне чувство гармонии, гулять по нему было неописуемым удовольствием, он стал первым другом, поддержавшим меня в начале нового этапа, когда, кроме надежд и ожиданий, не было ничего. И потом, в развитии судьбы, в минуты счастья и глубокого горя, он всегда был со мной. Поэтому все песни, появившиеся о Ленинграде в моем репертуаре, были необыкновенно важны для меня. Обращаясь к музыкантам и поэтам, я рассказывала, как много он для меня значит, и просила отразить в песнях мою признательность к каменному другу.

С первых дней жизни здесь мне все время хотелось гулять. Но дело это было рискованное: приезжая студентка, не знающая русского, могла запросто потеряться, поэтому, оказавшись в Ленинграде, сразу стала учить: «Как пройти на Мытнинскую набережную?», «Где здесь университет?». Именно с этих простых туристических вопросов для меня начинался долгий, трудный, но интересный период ученичества. И получилось так, что поделился он на две части: первая длилась 6 университетских лет, а вторая заняла два десятилетия. Хотя, если подумать, и сегодня жизнь каждый день учит меня чему-то новому. Нам только кажется, что возраст наделяет нас всепонимающей мудростью. Нет, даже прожив столько лет, иногда удивляюсь, как много непознанного вокруг меня. Но вернемся в прошлое.

Первый этап ученичества – Ленинградский университет, философский факультет, отделение психологии. Вступление в студенческую жизнь произошло очень быстро. Началось оно со Дня первокурсника. Еще одно яркое впечатление того времени. Проходил он в Таврическом дворце, в самом сердце Ленинграда, рядом с просторным Таврическим садом. На этом вечере я впервые спела под гитару французскую песню о любви, она так и называлась «Гитара любви». Аккомпанировал мне мой сокурсник-поляк. И это был настоящий праздник. Только тогда пришло осознание, что я здесь на законных основаниях и мне не придется завтра возвращаться в Польшу.

Началась учеба, долгие упорные занятия по политэкономии, психологии, философии, лекции, семинары, подготовка к проверочным работам. Свободного времени почти не оставалось, но когда оно выпадало, с подругами, чаще всего с Зосей Капущинской, она сейчас декан в университете в Катовице, бродили по набережным. Через Дворцовый мост шли мимо Эрмитажа на Невский проспект и по нему до конца – до Московского вокзала, откуда начался наш путь в Ленинград. Как хорошо нам гулялось, сердце замирало, хотелось плакать и смеяться одновременно. Не могла поверить: неужели я, дочь

польского шахтера, смогла вырваться из своего маленького мирка, и судьба дала мне возможность жить и учиться в этом красивейшем городе?!

Никогда не понимала тех, кто утверждает, что Ленинград, а ныне Санкт-Петербург – город неласковый. Так говорят те, кто чужд ему. Наоборот, именно в ту холодную зиму 1955–1956 годов мне довелось ощутить необыкновенное тепло, что дарит город всем его жителям. Тепло не климатическое, не погодное, а внутреннее, когда на улице почти –40, а у тебя в душе так тепло, будто ты сидишь у пылающей печи. Ленинград подарил мне чувство уюта, блаженного покоя, когда тебе очень хорошо и никакие трудности не страшны.

Учеба давалась нелегко, но существенным подспорьем стало то, что педагогический лицей во Вроцлаве я окончила круглой отличницей, золотых медалей тогда вообще еще не было – мне выдали грамоту, в которой именовали «особенной выпускницей». Те предметы, по которым у меня было «отлично» и которые совпали по учебному плану, мне зачли. Это существенно сэкономило силы для будущих испытаний.

Первым большим испытанием стало незнание русского языка. То есть я, конечно, немного говорила, но этого «немного» было абсолютно недостаточно. Сказать, что я знала его плохо, не сказать ничего. Да, русский у нас был в лицее, и мы пытались им заниматься во время экзаменов в Гданьске, но в лицее нам его преподавал поляк, отставной военный из армии Ludowa (народная армия Польши. – *Ред.*), в свое время служивший в СССР. Только приехав в Ленинград, я поняла, как плохо этот поляк говорил по-русски. Он дал нам лишь некий «скелет» языка, если так можно сказать, и в университете я отчетливо поняла: а русского-то я и не знаю.

Ведь важно не только знать, что за чем ставить, – подлежащее, сказуемое, определение, наречие. Нужно не только зазубрить склонение глаголов «был, была, были». Стало очевидно, что русский язык – целый мир с нюансами, исключениями из правил, многозвучием, изменением смысла от одного только ударения, подтекстом и уникальной мелодикой речи. Я отчаянно путала слова, возникали смешные, а иногда и грустные ситуации. Бывало всякое…

Прихожу в столовую университета, вожу глазами по прилавку, где большие чаны стоят с кашами, супами, подносы с котлетами, только вот с какими – не понятно. Думаю, чего я хочу? И сразу сама себе отвечаю: «Мяса…» Говядины хотелось. По-польски говядина – «воловина». «Та-ак, – думаю, – хочу воловины. Но как же это будет по-русски?» Читаю меню – нет там воловины!

И тогда обращаюсь к кассирше: «Простите, я хочу мясо от мужа коровы!» Согласитесь, остроумно вышла из положения….

В другой раз захожу в магазин, подхожу к прилавку, говорю: «Пожалуйста, килограмм сахара». Мне дают кусковой. «Да нет, – говорю, – мне сахар!» – «Это сахар!» Я жестами изображаю нечто сыпучее. Продавщица спрашивает: «Песок, наверное?» – «Нет, песок на пляже! – говорю. – А мне дайте, пожалуйста, сахар…» Забавно. Еще постоянно путала слова «извините» и «разрешите» – в трамвае наступлю кому-нибудь на ногу: «Ой, ради бога, разрешите!»

Меня спасло то, что на первом курсе ЛГУ у нас был очень хороший преподаватель русского языка – профессор-филолог Вера Николаевна, фамилию уже не помню. Был характерный случай: один из уроков посвящен отчеству: почему в России есть отчество, а в других странах его нет. Я протянула руку, спросила: «Вера Николаевна, а как будет отчество от Веры?» Она рассмеялась и ответила: «Отчество дается по отцу, а не по маме. Потому оно так и называется – от слова «отче». Мне эта традиция, свойственная только России, показалась очень правильной – сохранять в своем имени имя отца. Если бы папочка знал об этом, ему было бы приятно. Получалось, что на русский манер я – Эдита Станиславовна, а не пани Эдита или пани Пьеха. Хорошая традиция – чтить память предков через имена наших отцов, вписываемых в паспорта.

Да, было непросто, но постепенно, день за днем, разговаривая с однокурсниками, преподавателями, слыша речь горожан в трамвае, на улице, втягивалась, вслушивалась, впитывала язык. Думаю, мне помогал в этом мой музыкальный слух, кроме этого, способность к языкам досталась от мамочки, так что не буду хвастать, что за короткое время овладела русским, но к концу первого курса говорила уже очень прилично.

Знания по русскому языку тестировались не только в разговорной речи. Например, на первом курсе абсолютным мучением стало штудирование «Капитала» Маркса. Огромного количества русских слов я просто не знала и не понимала, а надо было понять, иначе – как прочитать столь серьезный труд. У меня тогда сложилось впечатление, что это главное произведение для первокурсников. До нас все время доносились слухи о том, какой строгий по отношению к студентам преподаватель, читавший лекции по политэкономии. Вот и получалось, что без «Капитала» Маркса никуда. В довершение всего в конце первого курса экзамен – 30 билетов, по три вопроса в каждом, зубрила как сумасшедшая.

И вот этот день настал. Вошла в аудиторию, жду своей

очереди тянуть билет, морально готовлюсь, коленки дрожат, вся напичкана шпаргалками, а куда без них, хотя знаю, что все знаю, – извините за тавтологию, – но было жутко страшно. И тут ко мне шепотом обращается одногруппник-албанец, с которым у нас были хорошие отношения. Он уже билет вытянул, понял, что не знает, но хорошо запомнил, с какой одержимостью я зубрила экономический трактат Маркса о добавочной стоимости. Взмолился: «Помоги, не знаю вопрос…» Сжалилась, подбросила шпаргалку. Если бы знала, к чему это приведет, лишний раз подумала бы. Не прошло и минуты – вырастает передо мной наш преподаватель, Борис Сергеевич Андреев, секретарь по идеологии в горкоме партии, суровый товарищ. «Студентка Пьеха, на ковер!» Робко спрашиваю: «Почему? Я еще билет не вытягивала», а он в ответ: «Вам и не придется».

Пришлось мне на кафедре отвечать почти на все вопросы. Гонял меня товарищ Андреев по всем билетам политэкономии нещадно, тем не менее все ответила. А он в конце заявляет: «Вы выучили все вопросы, я удивлен, но все равно вы получите «4», а не «5». За шпаргалку». Те, кто знает, что такое политэкономия, и штудировал «Капитал» Маркса, поймет, как мне было обидно!

Получилось так, что спустя годы мы с этим беспощадным товарищем вновь встретились. Я уже была артисткой ансамбля и вовсю гастролировала по стране. Мы столкнулись, не помню уже где, но узнала его сразу, мучителя своего, говорю: «Здравствуйте, я бывшая ваша студентка Пьеха, которой вы «4» поставили за шпаргалку». Он: «Не помню я вас, кто вы такая?..» – «Артистка я, Эдита Пьеха…» – «Простите, не помню, не до вас мне». Может, действительно не помнил, а может, стыдно стало, что он со мной так не по-человечески обошелся. Хотя сегодня, вспоминая те перипетии учебного процесса, понимаю, что все это были трудности временные, но мы к ним очень серьезно относились. А как могло быть иначе?

Еще одним неожиданным испытанием для меня в Ленинграде стали жестокие морозы. Отправляясь из Польши в СССР, даже не предполагала, что окажусь почти в Сибири. Вот и приехала с маленьким чемоданчиком, в котором платье, перешитое из маминого, зеленый свитерок, коричневая юбка, о них расскажу после, еще пара свитеров, белье да пара кофточек. А в качестве верхней одежды то самое пальто, сшитое для меня специально у местного портного по случаю отъезда. Тоненькое, подкладка еще тоньше, подбито ватинчиком. Мама дорогая, как я в нем мерзла! Общежитие наше было на Мытнинской набережной, до факультета идти да идти через деревянный еще тогда мост

Строителей, где пронизывающий ветер, колючий, ледяной, бьет прямо в лицо вперемешку с мелким, слепящим глаза снегом. Идешь, почти вполовину согнувшись, ничего перед собой не видишь. Добираешься до университета в состоянии полного окоченения: пальцы рук как деревянные, пальцев на ногах вообще не чувствуешь, кожа лица стянута, исколота множеством невидимых иголочек, нос красный, глаза слезятся… В такие минуты, признаюсь, думала иногда: «Куда тебя понесло, сидела бы у себя в Польше, поступила бы на работу в какую-нибудь сельскую школу…», но тут же одергивала себя: «Не малодушничай, тоже мне, победительница, хороша же ты, если тебя зима может испугать…» Вот такой настоящей снежной бабой, уговаривающей себя не сдаваться, я вваливалась в университетскую столовую – пить чай, отогреваться, приходить в себя, а после бросалась в научный бой…

Студенты, учившиеся не в ЛГУ, наслышанные о насыщенном учебном графике «университетских», часто задавались вопросом: была ли жизнь вне этих стен? Со всей ответственностью заявляю: была. И еще какая. Кроме величественного здания философского факультета на Менделеевской линии был другой мир – наше общежитие на Мытнинской набережной, где все мы – иностранцы и советские люди – жили одной семьей. Дружной или нет, это другой вопрос. Меня часто спрашивают: как к вам, иностранцам, тогда относились? Отвечу как есть: по-разному. Были те, которые искренне уважали, ведь есть в характере русского народа замечательная черта – гостеприимство, интерес к другой культуре, стремление помочь, согреть, принять в коллектив. И мы чувствовали это, были благодарны. Но так было не всегда.

В общежитии, в нашей комнате № 23, жили 6–8 человек: албанка, китаянка, и я (селили нас без разбору), и еще девочки с последнего, пятого курса. Так вот, с некоторыми пятикурсницами бывали столкновения. Одна из них, Лиза Шерстенина, не выносила нас, грубая была, пыталась все время подколоть, гадость сказать, в общем, не любила активно. Все время выговаривала нам: «Вы, иностранцы, дармоеды, едите наш хлеб, а русский знать не хотите!» Мы и вправду получали сталинскую стипендию, да еще так называемые «посольские», выходило больше, чем у советских студентов.

А вот другая пятикурсница, Наташа Уткина из Перми, наоборот, очень хорошо к нам относилась. Потом я с моей подружкой-полькой Зошкой перешла в комнату № 8. Там были другие девушки – тоже старшекурсницы, русские из Прибалтики, они стали опекать нас. И вот тут-то, после переселения в новую

комнату, я вдруг очнулась – будто вытащили вату из ушей, стала все понимать, что мне говорили. Правду говорят: хорошее отношение на многое способно. Не могу сказать, что очень с кем-то сблизилась, время было такое и условия, нужно было думать об учебе.

Почти с первых дней учебы возникли моменты, с которыми трудно смирялась. Из католической страны я попала абсолютно в другой мир, где любой прохожий с пеной у рта мог доказывать, что Бога нет. Моего Бога я не демонстрировала, Он всегда был глубоко в душе и в благодарные минуты жизни, и в самые горькие. Он всегда был и есть со мной, но, скажите, как я могла на глазах у соседок по общежитию перед сном становиться на колени и молиться? Что бы тогда произошло? Легко понять, что бы мне сказали люди, веровавшие в Ленина, а не в Господа нашего. Решила не обострять ситуацию. «У каждого свой Господь», – сказала я себе. Этим и утешилась. Молиться про себя мне никто не мог запретить.

В непривычной обстановке вдали от дома первое время очень скучала. Это было хуже, чем ностальгия. Скучала в основном по дому, а дом для меня – это мама. Единственный человек, который всегда был со мной, и в трудном французском детстве, и в польском. Говорят, дочка наследует судьбу матери, и я часто думала: какой тяжелой была жизнь моей мамы. Потеряв любимого мужа и сына, она покорилась судьбе и вышла замуж за нелюбимого человека потому лишь, чтобы не потерять жилье. И хотя потом у нее появился еще один сын, я видела, как тяжело ей было балансировать между мной и отчимом, я оказалась своего рода яблоком раздора и чувствовала себя почти сиротой даже при матери, которая лишний раз боялась меня приласкать, – отчим не позволял. Каждый день я молилась, чтобы Господь дал мне возможность убежать из дома, и Он меня услышал.

И вот теперь, вдали от Польши, от мамы, в общежитии, в комнатке, где стояли восемь коек, мне казалось, я по-прежнему одна. Часто плакала по ночам, даже купила репродукцию картины Васнецова «Аленушка» и повесила её над кроватью: мы были так похожи с этой девушкой, пригорюнившейся над прудом. Смотрела на нее и думала: «Она такая же одинокая, как и я». С такими невеселыми мыслями засыпала уже под утро, а в шесть утра всю нашу комнату будило неотключаемое радио, своего рода пережиток военного времени, когда советские люди должны были быть в курсе политической обстановки в стране, как я его ненавидела!!!

Почти сразу в нашем общежитии проявились социалистические нравы, что совсем не пришлось мне по душе.

Вхожу однажды в комнату и вижу: соседка по комнате без спросу берет мое платье и надевает. Спрашиваю: «Что ты делаешь, оно же мое?!» Она отвечает: «А у нас тут все общее, ты свои буржуазные предрассудки брось!» По части общего вскоре произошел еще один эпизод, потрясший меня до глубины души.

В общежитии, «на этажах», в умывальных была только холодная вода. Ладно утром можно быстро умыться, но кроме этого тело требует гигиены, а мыться в ледяной воде не очень хотелось. У меня с детства нелюбовь к мытью: еще отчим выталкивал меня в тоненькой рубашонке на холод, крича матери: «Заставь её мыться, а не то она грязью зарастет». Мама пыталась меня защищать: «Ян, зачем ты так, она же простудится!» И это было правдой: туберкулезные легкие не могли вынести такого испытания, я все время заболевала. С той поры, когда нужно было мыться, мне давалось это с трудом. Тем более в условиях общежития, точнее, при отсутствии оных. Моя нелюбовь к мытью скоро стала такой явной, что надо мной стали издеваться. Лиза Шерстенина, та вредина с пятого курса, о которой я уже говорила, даже на Новый год подарила мне мыло и мочалку со словами: «У нас в Советском Союзе, в отличие от вас, буржуев, каждую неделю моются в бане!»

Баня – страшное слово. Впервые я его услышала в начале первого курса. Девочки из общежития, видя, как стремительно я покрываюсь гусиной кожей после утреннего умывания из тазика, посоветовали: «Сходи в баню, там есть горячая вода». Только они забыли предупредить меня, что были там общие залы. Ну вот, подсказали мне, как доехать до ближайшей бани. Приезжаю. Сдаю вещи, беру номерок, открываю дверь, и… обомлела: передо мной человек 15 абсолютно голых женщин с тазиками. У меня шок, чуть не плачу: «Что же это такое, как так можно?» Я же католичка, меня учили, что публичное обнажение в общественных местах – большой грех. Выбежала оттуда как ошпаренная. Так и не помылась. Пришла вся в слезах: что же мне теперь, грязной ходить?! А мыться из тазика ледяной водой – я так долго не выдержу! Сжалились надо мной девочки, подсказали, что в любой бане кроме общего зала есть индивидуальные кабинки, и я покупала более дорогой билет, чтобы не грешить наготой своей.

Да, принцип коммунального существования давался мне тяжело, ведь в Европе так не принято, даже у самых бедных семей было отдельное жилье. Не принято у нас было «на тридцать восемь комнаток всего одна уборная», но пришлось привыкать. У мамы тоже возник шок, когда она, значительно позже, приехала

ко мне на улицу Ленина, где я уже жила со своим мужем, и, увидев чужих людей в общем коридоре, спросила: «Дита, почему у тебя в квартире живут другие люди?» Мне долго пришлось объяснять, что это общая квартира, так называемая коммуналка.

В университете мне наконец удалось побороть чувство голода, что преследовало меня почти все детство и раннюю юность. Получив первую стипендию, пошла в буфет, купила банку сгущенки и две пачки печенья, всё это умяла за один присест. Сегодня об этом смешно даже подумать, а тогда банка сгущенки показалась мне верхом блаженства, ведь до приезда в СССР редко приходилось есть досыта, большую часть времени чувствовала себя полуголодной. Вот и была худой, как вобла: при росте 174 см весила 59 килограмм. Меню университетской столовой покорило меня: впервые в жизни дорвалась – каждый день наедалась, брала два первых и два вторых. Подруги смеялись: «Куда в тебя столько влезает?» Я отвечала: «Все время есть хочу!» Поначалу проедала почти всю стипендию в 500 рублей плюс 400 «посольских», ну, не всю, конечно, – полностью истратить её на продукты было невозможно, но вела себя, как собака, которую спустили с поводка, и она бежит, ошалев от счастья. Это с полгода длилось, а потом я успокоилась, поняла, что ничего мне не запрещено, и так, даст Бог, уже будет всегда. Но было время, когда навалилась на пирожные, кутила, как купец, отъедалась за все голодные годы. В результате за первый семестр поправилась аж на 15 килограммов! Когда зимой приехала на свои первые каникулы в Польшу, мама, увидев меня, ахнула: «Чем же это в Советском Союзе таких поросят откармливают?» и посадила меня на диету – овощные супчики и т. п. Позже увидела себя в кинохронике и поняла: так дело не пойдет, дала себе команду остановиться, стала больше двигаться, меньше есть и быстро похудела.

Но не одними пирожными жив человек… Иногда вечерами мы с подругами начинали петь – по случаю или если было настроение. Одна из них мне вдруг говорит: «Ты неплохо поешь, а почему бы тебе не пойти в хор польского землячества, есть у нас тут такой?» И добавила: «Им руководит очень интересный молодой человек, Александр Броневицкий…» Потом я поняла, что уже тогда он вызывал интерес многих студенток, а я лишь плечами пожимала. Но мысль о том, что здесь есть хор польского землячества, мгновенно согрела меня: там можно не только петь, но и говорить на родном языке!

Знакомство с Броневицким

Так, в сентябре 1955 года, я отправилась на репетицию, которая проходила в «красном уголке». Но получилось не очень удачно. Накануне я легла очень поздно, так как долго сидела в читальном зале общежития с этим проклятым «Капиталом», который ввергал меня в шок обилием непонятных слов. Проспала, поняла, что опаздываю. И вот заспанная, ненакрашенная, а тогда это было и не принято, наспех завязав волосы в пучок, в войлочных тапках спускаюсь в «красный уголок». Из-за двери слышу, что идет распевка, робко стучусь: «Извините, я опоздала». Темноволосый молодой человек внимательно посмотрел на меня таким многозначительным взглядом, что я смутилась. Позже он мне признался: «Я тогда подумал, что ты всю ночь с кем-то гуляла…» О, если бы он тогда знал правду! Но вслух лишь спросил: «Каким голосом поете?» А я еще плохо понимала по-русски, но ответила: «Вторым…»

У меня очень звучное контральто, сильное. Броневицкий прислушался, попросил остаться после занятий. Я подумала: «Ну вот, опять ругать будут», а он поинтересовался, знаю ли я еще какие-нибудь польские песни, попросил напеть. Потом сказал: «У нас в консерватории есть ансамбль, давайте, приходите к нам». Это был ансамбль дирижеров-хоровиков «Липка», состоявший из однокурсников Броневицкого. Примечательна история его появления.

В Ленинграде на одном из вечеров художественных вузов в Доме работников искусств имени Станиславского был объявлен конкурс-экспромт на лучшее исполнение. Каждый записавшийся на участие в конкурсе, солист или группа исполнителей, должен был выступить тут же, подготовив за несколько минут номер. Группа студентов консерватории – Александр Броневицкий, Никита Смирнов, Геннадий Зарх и несколько их товарищей удалились в пустующую комнату и быстро разучили шуточную песенку на тему известной всем «В лесу родилась елочка». Они спародировали женский ансамбль «Березка». Мужской вокально-танцевальный коллектив, семеня ножками, в платочках и сарафанах, из-под которых выглядывала мужская обувь, вызвал гомерический смех собравшихся на вечере отдыха. Номер оказался столь удачным, что консерваторцы получили «первый приз», а шутка вскрыла страстное желание заниматься пением. Так зародилась идея создать вокальный ансамбль. И вскоре он появился под названием «Липка». Ансамбль состоял в основном из студентов-консерваторцев, за исключением двух-трех человек,

и представлял собой отдельную вокальную группу из девяти человек и инструментальный квартет: рояль, электрогитара, контрабас, ударные. Юноши пели фальцетом, танцевали. «Липку» приглашали участвовать в капустниках, на вечерах отдыха. С успехом она выступала на шефских концертах в составе консерваторской бригады.

«Липка» была веселой студенческой затеей, милой, жизнерадостной, и только. Репертуар состоял из попадавшихся под руку произведений, переделанных для пущего эффекта самими студентами. А им хотелось иметь свое собственное творческое лицо, чтобы в выступлениях коллектива сочетались и глубокая идея, и оригинальность, и юмор. И вот очень кстати появилась я.

На одной из репетиций Броневицкий вдруг сказал: «У нас есть девушка, она поет по-польски, по-французски. Давайте приготовим программу к Новому году из польских песен». Так

началась наша подготовка к Новому году. Я оказалась в новом для себя коллективе, ансамбле «Липка», в котором преимущественно были пятикурсники консерватории, Владислав Чернушенко, который впоследствии стал ректором консерватории, были еще и другие музыканты, но, окончив консерваторию, они все разъехались по Союзу, и Сан Санычу пришлось набирать новых музыкантов. Помню, с нами играли Акульшин, Гамулин, Пустовалов, это были талантливые люди, в основном дирижеры-хоровики.

Довольно скоро руководитель нашего ансамбля показал свой непростой характер. На одной из репетиций, присмотревшись ко мне внимательно, он вдруг говорит:

– Эдита, ваши зубы не в порядке!

Дело в том, что в послевоенной Польше не ставили белых пломб, были только металлические. И во время пения они были видны. Я так и ответила ему: «Неправда, мои зубы в порядке, просто пломбы металлические…»

Вроде все объяснила, но как-то обидно стало, думаю: «Если он заметил, значит и другие могут?!» На следующий день пошла в университетскую поликлинику, прихожу, спрашиваю: «Скажите, пожалуйста, в Советском Союзе делают белые пломбы?», врач отвечает: «Конечно, делают». И началась моя эпопея с зубами, чтобы заменить польские черные пломбы на белоснежные, потребовалось много времени и терпения.

Девочки из общежития, узнав, что теперь я пою не только в хоре, но и в ансамбле при консерватории, пришли в восторг, хотя их интересовали не столько мои вокальные успехи, сколько сам Броневицкий. В их восприятии он был эталоном мужчины, при одном только упоминании его имени они закатывали глаза. А я не понимала, чем он их так привлекал. Во время нашей первой встречи передо мной предстал маленький, щуплый молодой человек. Рядом со мной, высокой и упитанной, он казался подростком, хотя и был на шесть лет старше. Я все никак не могла взять в толк: почему у девочек он вызывает такой восторг? Но познакомившись поближе, влюбилась: в его остроумие, эрудицию, бархатные темно-карие глаза в длинных черных ресницах и галантные манеры. Девочки по комнате, выспрашивая, как проходят репетиции, постоянно шептали: «Дита, если позовет замуж, выходи не раздумывая, будешь жить как в сказке!»

До Нового года оставалось еще много времени. Моя жизнь менялась на глазах. С одной стороны, учеба в университете, овладение серьезными науками, с другой стороны, занятия в ансамбле «Липка», настоящая отдушина для меня. Петь я любила, даже моя мама говорила: «Ну сколько можно тебя слушать?» Песня была моей необходимостью. Всё, что только попадалось мне, я разучивала и пела. Это были народные песни, церковные, я знала много советских песен Дунаевского, Соловьёва-Седова, были также иностранные песни, правда, на польском и французском языках, – пела их в лицейском хоре, потом уже в Ленинграде в хоре польского землячества. Весь этот музыкальный багаж пришелся как нельзя кстати. И, конечно, присутствие Броневицкого во всем этом имело для меня значение. Мы проводили вместе много времени, подружились, у нас было много общего: я училась, он тоже – окончил дирижерско-хоровой факультет, но продолжил обучение по классу композиции. Женская интуиция подсказывала мне, что он заинтересован во мне не только как в солистке своего ансамбля: через неделю после нашего знакомства он пригласил меня в гости к родителям. Понятно, что это все было не просто так, но тогда я решила: таким образом мне выражается особое доверие.

Жили они тогда в коммуналке на Греческом проспекте, напротив Греческой церкви, я сразу же полюбила этот дом. Там царила очень добрая уютная атмосфера, которая, как известно, зависит от людей. Родители Шуры – Эрика Карловна и Александр Семенович – приняли меня с большим теплом, с первого вечера

дав понять, что я желанный гость в их доме. И, конечно, меня тянуло к ним, туда, где ко мне относились, как к родной дочери. От них я получала ту родительскую заботу и тепло, которых так хотела, но не могла дать мне моя мамочка. Особенно заботилась обо мне Эрика Карловна, её гостеприимство не знало границ, она постоянно переживала за мое здоровье и беспрерывно меня подкармливала.

После того воскресного ужина с родителями Броневицкий начал за мной ухаживать, но делал это очень своеобразно. Он никогда не говорил: «Я приглашаю тебя на свидание», мы и так постоянно пересекались: на репетициях хора, на выступлениях, а потом обязательно куда-то шли вместе – в театры, музеи, просто болтали, гуляя по городу. Броневицкий не пропускал концертов ни одного зарубежного гастролера, ни одной новой выставки, театральной премьеры и всюду водил меня с собой. В ту пору, например, большой редкостью были фестивали итальянских и французских фильмов. Он приезжал ко мне чуть ли не на рассвете, до начала занятий в университете, уже купив билеты в кинотеатр «Великан»: «Собирайся! Лекции сегодня пропускаем! Надо знать, что в мире происходит».

А иногда, бывало, приходит к нам в общежитие на Мытнинской набережной, нас в комнате восемь девчонок жили, и, постучавшись, достает восемь шоколадных конфет – редкость! И каждой девушке протягивает с поклоном. Ой, что вы! Это по тем временам воспринималось как великосветское поведение. «Ах, Диточка, какая ты счастливая!» – говорили девочки. Для провинциальной девчонки внимание и уважение человека на шесть лет старше с двумя факультетами консерватории, конечно, было лестно.

Бывало, он приглашал меня в ресторан «Восточный», теперь это ресторан «Садко». Ужинать в ресторане в те годы считалось необыкновенной роскошью, на 10 рублей можно было вдвоем скромно, но вкусно пообедать и даже немного выпить. Сан Саныч заказывал себе рюмку водки, мне фужер сухого вина. Съедали по харчо или шашлыку, всё было очень чинно. Ему нравилось угощать меня, пусть скромно, но в ресторане.

Я понимала, что он оказывает мне особое внимание. И не я одна. Все вокруг мне говорили: «Не упусти его, он такая замечательная партия!» Девочки по группе не скрывали зависти, но мне все же казалось, что он вовсе и не ухаживает за мной: цветов он мне не дарил, ласковых слов и комплиментов не говорил, а раз этого не было, значит и не ухаживал. Но было в нем много того, что казалось привлекательным. Например, очень нравилась та легкость, с которой он заводил новые знакомства. В

отличие от меня, мог заговорить с кем угодно и где угодно, поэтому с ним было интересно: у него в друзьях ходили певцы, композиторы, балетные артисты, как начинающие, так и признанные мэтры. Через него я познакомилась с самыми выдающимися композиторами того времени, которые писали для нас песни, хотя Броневицкий и сам был прекрасным мелодистом. С Сан Санычем было по-настоящему интересно, он обладал талантом выбирать друзей. Вокруг него было столько удивительных людей!

«Червонный аутобус» и первые шаги

Близился Новый год. Мы усиленно готовились, придумывали программу, я разучивала песню «Червонный автобус», которую должна была исполнять на праздничном новогоднем вечере в консерватории. И вот день настал. Никогда не забуду, как впервые, войдя в консерваторию, где проходил новогодний вечер, увидев величественную мраморную лестницу, я спросила у Броневицкого: «Это что, замок какой-то?» А потом в зале увидела орган: «Это что, у вас костел здесь?» Он смотрел на меня, как на первобытную дикарку, а я удивлялась всему, что видела. При этом трусила страшно. Дебют все-таки. Началось все с наряда, в котором должна была выступать. Как полагается в подобных случаях, надела все самое лучшее: из лучшего у меня был свитер грубой вязки бело-зеленой расцветки, коричневая юбка, в которой ходила на учебу в университет, с пятнами от чернил, потому что ручки тогда были еще не шариковые. Мама перелицевала эту юбку на меня. Вместо изящных туфелек ботинки на толстой подошве, привезенные из Польши и похожие на лыжные. Стою за кулисами, волнуюсь, а на сцене «Липка» вовсю поет-играет. Но вот выходит Александр Александрович и говорит: «Я хочу вас познакомить со студенткой из Польши, Эдитой Пьехой, она споет песню композитора Шпильмана «Червонный автобус». И выхожу я, дивчина из шахтерской глубинки, в своем «лучшем» наряде, а в зале жены преподавателей в платьях из панбархата, на некоторых даже бриллианты. Воцарилась мертвая тишина. Собралась с духом и запела: «Аутобус червонный…» Это была песня варшавских строителей, написанная замечательным композитором Владиславом Шпильманом, человеком с трудной судьбой, ему чудом удалось выжить в варшавском гетто во время Второй мировой войны. (О Владиславе Шпильмане в 2002 году снял свой фильм «Пианист» Роман Полански. – *Ред.*) Броневицкий сделал для этой песни аранжировку в духе джаз-гоу, а тогда это была вещь запретная.

Как мне было страшно, но я смогла допеть! Затихли последние такты, стою, в зале тихо-тихо, думаю: «Ну все, опозорилась…», и вдруг тишину разрывают аплодисменты. Овация. Что-то кричат, я не понимаю, спрашиваю у Броневицкого: «Что они хотят?» – «Иди, пой еще!»

В ту сказочную ночь я бисировала эту песню четыре раза. Для аудитории наше выступление было как взрыв. В стенах консерватории подобные произведения до нас не звучали и никто таким голосом не пел, всегда пели сопрано, а тут вышла дивчина в лыжных ботинках и запела контральто – забасила. Это был фурор, которого Броневицкий не ожидал. В зале сидели профессура, педагоги по вокалу, люди, ставшие впоследствии известными композиторами, среди них оказался и сам Василий Павлович Соловьев-Седой. Увидев меня тогда на сцене, он позже написал: «На нашей эстраде появилась артистка, которая живет только ей свойственным способом воспринимать окружающий мир и своими чувствами в песнях его передавать…» Большинство из тех, кто оказался на том вечере, были единодушны: «Этой девочке надо заниматься на вокальном отделении, у нее редкий тембр голоса…», но Броневицкий этого мнения не разделял.

Отзвуки нашего новогоднего выступления раздавались еще

долго. Люди говорили: «Появилась какая-то Пьеха, которая поет басом». И пошло-поехало! Позже позвонили со студии документальных фильмов, где в то время велась активная работа над кинохроникой, – режиссер Ефим Учитель снимал фильм «Мастера ленинградской эстрады» на киностудии, что на Крюковом канале. Так наша песня «Червонный автобус» была увековечена в кадрах музыкальной кинохроники. Эта запись, выражаясь языком сегодняшнего времени, стала первым советским клипом: мужской состав ансамбля изображал пассажиров того самого червонного автобуса, а я – кондуктора, и все пели.

Вскоре нас пригласили на студию «Ленгрампластмасса», где выпускали асфальтовые диски на 78 оборотов. Там был такой директор по фамилии Шляпоберский, это он нас пригласил, и мы записали «Червонный автобус», а еще песенку «Мой жених в футбол играет», но это была польская песенка, и пела я её по-польски. Вскоре в польском журнале «Вокруг света» появилась большая статья одного журналиста, который был в командировке, о том, как «Червонный автобус» Шпильмана покорил сибирскую тайгу. Журналист услышал в аэропорту по радиотрансляции эту песенку. Вообще у этой песни очень счастливая судьба была. Я пела её везде, и всегда это был успех, обязательно исполняла её еще и на «бис».

А когда вышла пластинка, «Червонный автобус» стал моей визитной карточкой на первое время. Какое это было счастье! Помню, идем мы с Броневицким по Невскому проспекту, а гулять мы любили, и чуть ли не из каждого магазинчика, из каждого открытого окна слышен мой голос! Можете себе представить?! Еще вчера я была дочкой бедного польского шахтера, самой большой мечтой которой было стать учительницей, а тут такое!

А когда я на первые каникулы поехала в Польшу и взяла с собой свои пластинки, таможенники долго расспрашивали меня о том, что я везу, тогда же всех считали шпионами. Объясняю им: «На этих пластинках я пою». Они не поверили, повели куда-то, поставили на граммофон пластинку и только тогда заулыбались: «Добро пожаловать домой!», а моя мама на весь городок шахтёрский хвасталась: «Моя дочь поёт на пластинке!»

Так новогодняя ночь стала началом новой жизни, о которой я даже не помышляла. Хотя спустя время узнала, что некоторые люди задавались вопросом: почему Александр Броневицкий сделал солисткой ансамбля «Липка» польскую студентку, которая даже не знала нотной грамоты? Ответ был один: из-за моего голоса, необычно низкого, мелодичного, выразительного. Это не я о себе так говорю, а вспоминаю, что говорили другие. Я просто не

ожидала, что мое любимое занятие – пение может до такой степени изменить жизнь, но это не дало мне повода думать, будто это может стать моей профессией. Я продолжала прилежно учиться в университете и думала, что буду преподавателем. Но выходя на сцену после первого выступления в консерватории, почти не волновалась, иначе относилась к этому. С детства привыкла к тому, что песня всегда помогает в трудную минуту, поддерживает человека. Сама пела повсюду: возле двери аудитории перед экзаменом, поднимаясь по лестнице в общежитие, просто шагая по улице, и мне казалось, что все вокруг это люди, которые точно так же любят петь и поэтому всегда меня поймут. То, что это взаимопонимание нужно завоевывать, поняла гораздо позднее, когда стала выступать на профессиональной эстраде. Только благодаря Броневицкому моя любовь к пению из простого хобби стала превращаться в нечто более серьезное.

Довольно скоро стало понятно, что для него это тоже важный проект, а не просто постконсерваторская практика. Наш ансамбль креп, обрастал репертуаром, вырабатывал облик, совершенно необычный для эстрады того времени. Это была не то чтобы революция, просто пели мы что-то совершенно новое. До нас Россия всегда славилась своими фольклорными коллективами, композиторами, которые писали для хоров, а тут малая форма: не квартет, не квинтет – солистка и 12 парней-инструменталистов. Вокально-инструментальный ансамбль. Все было на высоком профессиональном уровне.

Броневицкий сделал ставку на меня, на мой голос, образ, столь непохожий на большинство тогдашних солистов. Его не пугало, что я явно выбивалась из общепринятого стандарта, – высокая, угловатая, хотя двигаться по сцене умела, зато не знала, куда девать руки, к тому же, как правильно было замечено, не знала нотной грамоты, все разучивала на слух. Была своего рода зародышем будущей артистки, в меня надо было вкладывать время, терпение, силы, что Броневицкий и сделал.

Наш ансамбль выступал на разных студенческих вечеринках, мы были очень востребованы. В обкоме комсомола нам предложили готовиться к участию во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. Популярность пришла стремительно, ведь Броневицкий, кроме музыкального дара, обладал чутьем на новаторские проекты, и наш ансамбль удивил многих, такого тогда не было, «Орэра» и «Песняры» появились позже. Мы были единственные такие на то время.

Вскоре Броневицкий рассказал мне о своей мечте – создать серьезный вокально-инструментальный ансамбль, участники

которого были бы представителями разных стран и республик СССР. Из этого мог получиться хороший интернациональный проект. Постепенно эта идея стала воплощаться в жизнь: в наш коллектив приходили все новые и новые участники из разных стран. Так появились двое немцев – контрабасист Вернер Мачке, учившийся в Горном институте, и Рольф Шаблински, гитарист, с факультета журналистики. Зяма Массарский из Биробиджана, Карл Клуцис из Латвии. А представителем Ленинграда стал Никита Смирнов… Но названия у нашего ансамбля все еще не было. Он обрел его весной 1956 года. Произошло это так. Перед выступлением в Большом зале Ленинградской филармонии 8 марта 1956 года к нам подошел конферансье Борис Баринов и спросил: «Гаврики, как вас объявлять?» Вспомнив про мечту Броневицкого и наш дружный «интернационал», я выпалила: «Дружба». «Что ж, – сказал конферансье, – хорошее название в преддверии фестиваля молодежи и студентов, даже отличное!»

Так родилась «Дружба»… Сначала ребята исполнили песню-колыбельную, потом вышла я. К этому времени у меня появилось первое концертное платье, черного цвета, перешитое из маминого. Публика нас принимала очень хорошо, она была такая искренняя и так открыто отзывалась на то, что было для нее непривычным. «Липка» безвозвратно ушла в прошлое. Новое название повлекло за собой и изменение репертуара, вместо прежних шуточных номеров предполагалось исполнять песни разных народов в современной обработке и звучании, с иными аранжировками. Прежним осталось лишь одно – мое присутствие в ансамбле на позиции солистки. Броневицкий терпеливо, шаг за шагом разучивал со мной с голоса каждую новую песню, процесс это трудоемкий, требующий терпения, внимания и очень хорошего слуха. Слава богу, все эти качества были мне даны от рождения, но потребовалось еще много прилежания и трудолюбия, чтобы каждый раз достигать цели.

После первого курса состоялись мои первые летние каникулы, на которые я, понятное дело, поехала к маме. Долгий утомительный переезд по железной дороге, а потом от вокзала до дома три километра ночью, меня никто не встречал, с тяжелым чемоданом, набитым подарками. Этот чемодан стал для отчима камнем преткновения. Увидев его, он изумился: «Откуда все это? Ты что, воровала?» – «Папа, – ответила я, – в месяц я 900 рублей получаю: 500 – Сталинская стипендия и 400 – от польского посольства, потому могу все купить». – «Не может такого быть. Я вкалываю, но таких денег и за год не заработаю». – «Да, – кивнула я, – теперь я богатая, а с вами у меня отдельный разговор будет». Вспомнилось одно из писем мамы, где она рассказывала, что

отчим поднял на нее руку. Мне стало так больно. Слишком свежо было воспоминание о том, что я видела своими собственными глазами: как мама старалась балансировать между мной и Голомбом, он совершенно не давал ей возможности лишний раз приласкать меня, но своего сына от отчима Юзефа она тоже любила, ведь он был для нее таким же ребенком, как и я. Теперь же я была взрослая, сильная, спортом занималась не зря, поэтому подошла к нему, взяла за лацканы, приподняла и сказала: «Если еще раз вы поднимете на мою маму руку, если я услышу, что вы повысили на нее голос, дам сдачи. За то, что меня обижали, я вас простила, но запомните: маму вы больше пальцем не тронете!» Он на меня так посмотрел, будто услышал голос свыше…

В этот же приезд домой я не выдержала и поделилась с мамой своей тайной: что у меня появился друг, зовут его Александр, он из семьи потомственных моряков, сам по профессии музыкант и мне очень нравится. И если бы он предложил мне выйти за него замуж, то я бы не задумываясь согласилась. С мамой случилась истерика. «Он тебе не пара! – кричала она. – Я запрещаю тебе выходить замуж за русского, и вообще, сначала нужно закончить учебу». Уехала я с тяжелым сердцем.

«Это значит любовь»

К тому времени наши отношения с Броневицким приняли серьезный оборот. Были мы на первый взгляд абсолютно разными людьми. Я – польская скромная девушка, воспитанная по канонам католической религии, к тому времени ни с кем не целовалась, не знала, что такое мужские объятия, и совсем другое дело – Александр Александрович. Импозантный, общительный, остроумный, яркий, он стремился к всеобщей любви, а особенно желанным для него было женское внимание, он просто не мог без этого. Но что я тогда понимала, ведь никакого опыта личных отношений с мужчинами у меня не было. Было лишь любопытство, наивность, свойственная молодости, и страх. Женщины ведь полностью в руках мужчин… К тому же в то время я считала себя некрасивой, угловатой и почему-то утвердилась в мысли, что никто меня замуж не позовет. Когда отношения стали серьёзными, на подоконнике лестничной клетки, в доме, где жили Броневицкие, состоялось наше объяснение. Вряд ли это можно назвать предложением руки и сердца в привычном, романтическом понимании этого слова.

Сан Саныч смущался и говорил что-то невразумительное: «Я не понимаю, что делать. Не могу без тебя». Я пришла ему на помощь: «Давай поженимся!», он мне на это: «А знаешь, в какое время мы живем? В советское! Браки с иностранцами не приветствуют!» Я стала его убеждать: «Да ничего не будет! Я же из пролетариев, а не из спекулянтов или кулаков. Бояться меня не надо». А он просто так, без эмоций, в ответ: «Давай!» И тут же добавил: «Вообще-то мой отец будет против, так как сам всю жизнь промучился с иностранкой». И это было правдой. В свое время отец Шуры, Александр Семенович, женился на Эрике Карловне, полулатышке-полунемке. Вот небольшая предыстория их знакомства, а к ней несколько штрихов о жизни, которой они жили.

Отец Сан Саныча – Александр Семенович Броневицкий (настоящая фамилия звучала как Бороневицкий), капитан второго ранга, родом из-под Слуцка (Белоруссия). Белорус с польской кровью. Кроме него в семье было еще пять братьев и одна сестра. Три старших брата Александра Семеновича ушли в моряки, и их фамилию переделали. Старший брат Петр Броневицкий плавал еще на «Варяге», а в советское время был генерал-майором береговой службы. Многие Броневицкие несли службу в Северодвинске.

Александр Семенович служил на флоте на Амуре. С Эрикой

Карловной, своей будущей женой, познакомился на каникулах в Харькове, где гостил у какого-то друга. На тот момент география его перемещений по Советскому Союзу была огромной: ездил везде, куда посылала служба. Достаточно продолжительное время, уже поженившись, они жили в Севастополе, там-то и родился Сан Саныч в 1931 году.

Эрика Карловна – латышка с немецкой кровью – пела в Ленинградской капелле, знакома с Клавдией Шульженко, с великим Мравинским, была вся погружена в музыку. Когда Александр Семенович ушел на фронт, она осталась одна с сыном на руках. Во время войны они оказались в эвакуации, а после окончания войны приехали в Ленинград. В 1946 году родился второй сын – Евгений. Эрика Карловна продолжила петь в хоре капеллы, а маленького Шуру отдали в музыкальную школу. Александр Семенович к тому времени вернулся в Ленинград и получил комнату в коммунальной квартире на Греческом проспекте, 13, где я и оказалась в первый вечер знакомства с родителями Саши.

В начале знакомства с Сан Санычем я не знала, что у его отца были серьезные проблемы, связанные с тем, что он женился на Эрике Карловне, но они очень любили друг друга и смогли все преодолеть. Вот и получилось, что после того, как мы с Шурой заговорили о свадьбе, последовал серьезный разговор с его отцом. Он не только грозно спросил Сан Саныча: «К чему все это?», но и меня огорошил: «Ты выходишь за сына из-за прописки?» Я училась уже на втором курсе и более-менее могла изъясняться по-русски, но на это только и смогла ответить: «А что такое прописка?» Действительно не знала, что это такое. Однако скоро все противоречия разрешились, я стала звать Александра Семеновича «папой», а он относился ко мне, как к дочери, – много помогал в быту, поддерживал, как мог. А с Эрикой Карловной мы нашли общий язык с первых же минут нашего знакомства. Я видела, как родители Шуры ко мне относились, в душе у меня все цвело от счастья.

Другое дело, что я сама совершенно не понимала, во что ввязываюсь. Что такое замужество, обязанности и ответственность жены. Все, что у меня было, это опыт моей мамы, история её любви с отцом, но подробностей не помнила по причине маленького возраста, а вот вынужденный брак с нелюбимым отчимом хорошо отложился в памяти. Понимание замужества, как большого таинства, складывалось из проповедей нашего польского ксёндза да католических текстов. Никакой практики. До Броневицкого я ни одному мужчине не позволяла к себе притронуться, не то что поцеловать. И вдруг возникает будущее, в

котором мне уготована участь жены. Могла ли я знать тогда, что настоящей семьи у нас с Броневицким так и не сложится, будет сплошная сцена, прямо как поется в песне: «Работа, песни, города. И только так, а не иначе…» Но всего этого я не могла знать. Ребенок постепенно превращался в девушку, а девушка – в женщину.

Не было ни малейшего представления, как совмещать учебу, пусть даже заочную, занятия в ансамбле и семейную жизнь. И именно тогда огромную поддержку, за которую я безмерно благодарна, оказали мне родители Шуры. В каждом году было две сессии, и к каждой мне нужно было готовиться так, чтобы сдать экзамен на «отлично» или, в крайнем случае, «хорошо». Поэтому в перерывах между выступлениями на сцене мне приходилось практически жить в библиотеке. Александр Семенович, капитан второго ранга, тогда уже в отставке, возил мне супчик в кастрюльке, а Эрика Карловна делала котлетки. До сих пор помню, как тихо Александр Семенович входил в читальный зал Публичной библиотеки, трогал меня за плечо и шепотом говорил: «Диша, покушать привез…» И мы выходили, спускались в буфет, он там все раскладывал, и я ела. На время подготовки к экзаменам библиотека была моим вторым домом.

Кстати, и тут со мной произошла волшебная история. Некоторое время я занималась в читальном зале на Фонтанке, предназначенном для студентов, но однажды в поезде познакомилась с директором Публичной библиотеки Барашенковым Виктором Михайловичем, и он, признав во мне артистку, солистку популярного ансамбля, пообещал сделать пропуск для работы в научные залы библиотеки на площади Островского. Это сильно облегчило мою участь. Там было уютнее, удобнее готовиться к экзаменам, и обстановка потрясающая: старинные интерьеры, резные витые лестницы, стены отделаны деревянными панелями, и вокруг такая старинная, академическая обстановка, помогающая сосредоточиться. Вот я и сдавала все экзамены только на «5».

Наша свадьба с Александром Александровичем Броневицким состоялась 8 декабря 1956 года. Сначала мы зарегистрировались в Смольнинском ЗАГСе. Там все было довольно дежурно и уныло. Помню ободранный стол у стены со стертым зеленым сукном. В стене, прямо над столом, был вбит гвоздь. Оказывается, раньше на нем висел портрет И. В. Сталина, но только что прошел XX съезд, на котором было провозглашено развенчивание культа «отца народов», и портрет сняли. Гвоздь вызывающе торчал из стены, постоянно привлекая внимание. Под ним-то мы с Шурой и обменялись кольцами, и так что-то стало тоскливо от всего этого

антуража… Совсем иначе я себе это представляла…

Отмечать свадьбу поехали на Греческий проспект, к его родителям. Был накрыт красивый и вкусный стол, Эрика Карловна знала толк в готовке, хотя никаких деликатесов не было – икры или чего-то в том же духе. В ту пору еда была скромной: если на столе был кусок мяса, то уже хорошо. В целом торжество получилось скромным, о ресторанах тогда никто не помышлял, но атмосфера была душевной, пришли самые близкие друзья семьи: композитор Андрей Петров с супругой, у них 16 октября родилась дочь Ольга, и Наталья с трудом выкроила время между кормлениями, чтобы приехать к нам, Коля Кунаев, будущий главный дирижер ансамбля песни и пляски ЛВО, Шурины родители, мои институтские подружки, друзья Сан Саныча. На мне было маленькое чёрное платье, которое когда-то мама перешила на меня из своего, – плохая примета, к тому же я не люблю черный цвет: это цвет траура, который мама носила после смерти отца и брата, но денег на настоящее свадебное белое платье у меня не было. В какой-то момент я не выдержала – расплакалась. Выплеснулось все накопившееся: оторванность от родины, тоска по маме, напряжение в процессе учебы, непростые отношения с однокурсниками, боязнь за будущее, но самое главное – так хотела выйти замуж как полагается, в белом платье, а на стипендию купить его было невозможно. Это было детской мечтой еще со времен первого причастия, на которое я пошла, как невеста: сестра мамы Ирэна отдала мне платье своей дочери. Это так запомнилось: костел, счастливая мама, торжественная музыка и священник – такой серьезный и внимательный к нам. И я – вся в белом. С той поры хотелось повторить это ощущение светлого праздника, но с подвенечным платьем так ничего и не получилось. Зато я выходила замуж не за шахтера, как было бы в Польше, а за музыканта, умницу и неотразимого мужчину – Александра Александровича Броневицкого.

Много лет спустя, когда я познакомилась с Вячеславом Зайцевым, он спросил меня на примерке: «Какого цвета платье будем шить?» Говорю: «Белого». – «Почему?» – «Потому что у меня никогда не было свадебного». Но несмотря на все это, я была счастлива, что выхожу замуж, ведь мое очарование Шурой достигло апогея.

Вот только мама моя расстроилась, узнав, что я поторопилась выйти замуж, не просто расстроилась – рассердилась. Мы почти год не общались. Мама с Шурой познакомились только года через три после нашей свадьбы, когда мы приехали в гости, в Польшу. Нам помогла музыка: у нас дома стояло старое трофейное пианино, на котором никто не играл, я тоже не умела. Стоило

Шуре его увидеть, как он сразу сел за него и начал играть красивые мелодии. Это произвело на маму неизгладимое впечатление: «Он ещё и на пианино умеет играть!» У простых людей такой человек считался великим. И тогда она сказала: «Какой у тебя муж замечательный, какой талантливый! И красивый, как Наполеон!» Эти слова стали для меня благословением.

Наша семейная жизнь с Броневицким началась в коммунальной квартире на Греческом проспекте, дом 13. На 24 «квадратах» проживали пять человек: мы, родители Шуры и его младший брат Евгений, которому приходилось спать на раскладушке под роялем. Было очень тесно, но мы были так влюблены, что не замечали неудобств. В квартире жили шесть семей. Я не хозяйничала, только появлялась после учебы.

Потом мы переехали на улицу Ленина. Там жили три семьи. Наша комната была девятнадцать метров. В одной комнате жила Шурочка Комарова с мужем-алкоголиком и двумя детьми. Во второй комнате жила Надежда Дмитриевна, у нее была базедова болезнь. Потом я узнала, что люди с такой болезнью очень нервные и возбудимые. Надежда Дмитриевна часто и громко ругалась с Шурочкой. Я возвращалась с концертов поздно, долго спала, но слышала, как они по утрам ругались перед тем, как уйти на работу. Надежда Дмитриевна всегда оскорбляла Шурочку.

На кухне мой стол был у окна, следующий – Шурочки и чуть дальше – Надежды Дмитриевны. Иногда, возвращаясь с концерта голодными, мы находили записку от Шурочки: «Сварила щи, извини, без мяса, не хватило денег. Угощайтесь со своим Шурой». Она же предложила мне: «Тебе по дежурству полагается две недели мыть полы в коридоре, пыль вытирать, унитаз чистить. А ты ведь артистка, зачем тебе это? Ты лучше заплати мне, я все сама сделаю». Я, конечно, соглашалась.

Однажды приезжаю с гастролей и вижу, что на кухне висит на веревке для белья черное распоротое платье и еще что-то цветное. Это были мои платья. Спрашиваю у десятилетней дочки Шуры: «Таня, кто это сделал?» Отвечает: «Эдита Станиславовна, у тети Нади ключи подходят к вашим дверям. Наверное, это она взяла». – «Как?» – не понимаю я. «Она сейчас на работе, – говорит Таня, – давайте к ней зайдем». Мы открыли дверь в её комнату, и в шкафу я увидела еще четыре своих платья. То есть она просто украла их у меня, хотела распороть и сшить для себя.

На следующий день проснулась от крика Надежды Дмитриевны: «Воры! В этом доме воры! Меня обворовали! У меня из шкафа пропали вещи!» Я вышла, спрашиваю: «Какие вещи у вас

пропали?» Она испуганно посмотрела на меня: «А ты тут при чем? Это Шурка, наверное, украла».

Потом мы с Шурой дружили, она приходила на мои концерты. Её дочка до сих пор мне звонит, «тетя Эдита» меня называет, хотя сама уже пенсионного возраста. Шура была чудесной женщиной, воспитала двоих детишек, к сожалению, её уже нет, да и Надежда Дмитриевна умерла от своей базедовой болезни.

Когда про меня снимали телевизионный фильм, привезли в эту квартиру, сейчас в ней живет семья состоятельного человека: он, жена и ребенок. Ничего не узнать после ремонта. Из этой квартиры в свое время я поехала на трамвае в роддом рожать дочку, потом ежедневно ходила с ней в поликлинику. Представляете, каждый день на руках с ребенком спуститься с пятого этажа и подняться на него – потолки по три метра пятьдесят, пролеты большие. За месяц сбросила лишние килограммы. Так что коммуналка – это университет жизни.

Уже после рождения Илоны нам дали отдельную квартиру в Купчино. Тогда же предложили переехать в Москву. «Мы поедем в Москву?» – спросил меня Александр Александрович. «В Москву? Никогда. Я хочу жить только в этом городе», – сказала я. Он согласился со мной.

После замужества я лишилась посольской стипендии – так было принято: если ты состоишь в браке с советским гражданином, не положено тебе получать посольские деньги. Но это меня не огорчило. Когда меняется жизнь, надо что-то отдать, чтобы получить большее. Моя жизнь менялась прямо на глазах: выступления и гастроли в качестве солистки ансамбля, поездки по стране, встречи с новыми людьми. Я оказалась в новом качестве – вчерашняя бедная девочка из польской глубинки вдруг стоит на сцене, и её слушают много-много людей. Удивительно ощущение.

Когда наша жизнь с Шурой более-менее наладилась, я просила маму приехать, очень хотела, чтобы она жила с нами, но, увы, её привязанность к Польше и сыну Юзефу победила, она так и сказала мне: «У меня сын, я люблю его так же, как и тебя». Хотя несколько раз ей удалось навестить меня в Ленинграде, было это, когда мы еще жили на улице Ленина, на пятом этаже, в сталинском доме, без лифта, в коммуналке, как водится. Это был первый приезд мамы в СССР.

Пару раз, когда мамин приезд в СССР совпадал с моими концертами, я обязательно её приглашала. Один из них запомнился особенно: Выборгский дворец культуры, объявляю со сцены: «Сейчас прозвучит песня, которую я посвящаю самому

дорогому моему человеку – маме, и она сегодня в зале…» А она по-русски ничего не понимала, потом спрашивала меня: почему в зале так аплодировали? «Мама, потому что я про тебя пела». Она была спокойна за меня, и письма от нее были хорошие. Знала, что я не пропала, хоть и покинула дом в 18 лет. К сожалению, я находила время для того, чтобы присесть и написать ей письмо, не так часто, как надо было. Сегодня все, что у меня осталось от мамы, – несколько десятков писем. Моя реликвия, храню их в своем павильоне воспоминаний в доме, что в Северной Самарке…

Потом появилась квартира в Купчино, но в ней мы прожили недолго. Однажды, когда уехали на гастроли, нас обворовал вор с интересной фамилией – Рудомазин. Это был громкий эпизод, журналисты много об этом писали, даже больше, чем все это имело значения. На самом деле воровать-то особо было нечего: он унес концертные платья, концертные туфли, искусственную шубу. Самое смешное, что у меня в шкафу, где лежало постельное белье, было спрятано что-то около 1000 или 2 000 рублей, так он их не нашел. А туфли все мои погибли, потому что он их отнес брату-сапожнику, тот работал на фабрике «Восход», который переделал их с 40 размера на 38, а потом они их продавали. Платья Рудомазин почти все утопил в Мойке или Фонтанке, не помню точно где, они никому не понадобились. Когда его взяли, выяснилось, что он еще и Алису Фрейндлих обокрал. Я один раз я его увидела: лицо жуткое… Он тогда сказал: «А кого же еще обворовывать, если не этих артистов».

После всей этой истории нам в 1968 году дали квартиру на 5-й Советской. Дом 1906 года постройки, памятник архитектуры. Изначально он был фешенебельным, на каждом этаже по две огромных квартиры, но во время войны дом пострадал. Стены остались, потому что там пироговский кирпич огромной толщины, но внутри пришлось делать капремонт, после которого на каждом этаже стало по шесть квартир. Прежним хозяином выделенной мне квартиры был начальник какого-то комитета в Смольнинском районе по фамилии Шарашкин. Я долго потом смеялась, говорила, что получила «шарашкину квартиру». Квартира была ужасная, неудобной планировки: туалет был почему-то на странном возвышении, к нему вели три ступеньки. И повсюду двери, двери, двери. Снесла чуть ли не 10–11 дверей и сделала все более компактно, полгода ремонт шел. Работы было немерено. Когда только вошла в квартиру, возникло ощущение, что ремонт до меня там вообще не делался. На стенах по три-четыре слоя старых обоев с газетами, все это нужно было соскабливать. Полы паркетные прогнившие, скрипучие, и вообще вся квартира в жутком состоянии. Дизайнеров не приглашала, у

самой фантазии хватает. Одна этим всем занималась, все подняла на своих плечах, то, что не могла сделать сама, отдала на откуп мастерам, закупала стройматериалы, просчитывала затраты, в общем, была еще и завхозом. Мне это привычно, я же из простой семьи, часто видела, как отчим занимался хозяйством, что-то запоминала, примечала. Пригодилось. Квартирка хорошая получилась. Мы справляли новоселье в ней в ночь с 31 декабря на 1 января 1969 года. Прошли годы, захотелось жить на воздухе, так появился дом в Северной Самарке. Мне очень жаль, что его не увидела мама, он почти копия того жилья, что было у нас во Франции. Тоже две комнаты внизу, две комнаты наверху, только в нынешнем доме у меня есть сауна, душевые, чего не было в детстве.

«Сцена, сцена… Смех и слезы… Путь по тонкому льду…»

Летом 1957 года в жизни «Дружбы» произошел переломный момент – наш ансамбль стал участником 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Конечно, это было грандиозное событие. По всей Москве стояли эстрады, и мы ездили по ним с песнями. Народу было очень много, вся Москва была наполнена туристами. На самом конкурсе мы выступили с программой «Песни народов мира», ведь не зря же наш ансамбль назывался «Дружбой». Нам удалось произвести настоящий фурор.

На фестивале мне довелось познакомиться со многими интересными людьми – веселыми, сильными, смелыми. Этот фестиваль был панорамой молодости, высоких мечтаний, вся жизнь была впереди. И вот этот распахнутый взгляд в счастливое будущее чувствовался повсюду – в песнях, в людях, в разговорах, в улыбках. Фестиваль стал настоящим праздником. Люди, с которыми я познакомилась, произвели на меня неизгладимое впечатление – такие, как они, живут жадно, отчаянно, целеустремленно. Если работают – то до изнеможения, если смеются – до слез, если счастливы – то каждой клеточкой своей души. Увидев этих людей, поняла, что живу правильно, ведь я сама никогда не была пассивной или скучной. Еще в Польше была председателем комсомольской организации лицея, в котором училась, много занималась комсомольской работой в последующие годы. Считала себя, как это принято говорить, «активисткой». Фестиваль придал мне уверенности, стало понятно, что иначе невозможно существовать на свете, нужно ощущать себя частицей этой огромной массы интересных людей, надо быть им под стать. Всегда. И не важно, сколько тебе лет.

Золотая медаль Всемирного фестиваля молодежи и студентов оказалась не просто первой наградой – её ценность была в том, что повысился наш профессиональный статус и у нас появилось право работать от Ленэстрады, которая позже превратилась в Ленконцерт. Нас стали посылать на гастроли по всему Союзу. Куда только не заносила нас артистическая судьба: Советский Союз мы объездили от Балтики до Тихого океана, столько всего испытали, узнали нового. Довольно часто выступали в жанре «рабочий полдень», то есть перед заводчанами, прямо в заводских цехах, можно сказать, в обеденный перерыв. Нам быстро строили небольшой помост, и мы давали концерт. Перед нами были настоящие рабочие лица – серьезные, усталые, иногда суровые, но

как приятно было замечать перемену, когда лица светлели, на них появлялись улыбки, мечтательное выражение, «сердитки» меж бровей разглаживались. При этом, чтобы хорошо нас видеть, трудовые зрители сами распределяли между собой импровизированный «зрительный зал»: кто забирался на кран, кто на станок, а были хитрецы, использовавшие специальные установки в качестве «партера». В общем, всякое бывало. Подобные концерты были самыми успешными, самыми благодарными и щедрыми на аплодисменты. Мы видели, что песни находят отклик в сердцах этих людей. Никто не притворялся, не сидел с каменным лицом. Эмоционально, искренне, словно дети, эти лучшие в мире зрители откликались на услышанное. Наши трудовые концерты я вспоминаю до сих пор.

На гастролях мы бывали по 8 месяцев в году. Мама тогда писала мне: «Ты так часто выступаешь, а когда и кем ты работаешь?» Она и не думала, что пением можно зарабатывать на жизнь. Я тоже не сразу об этом узнала, даже не представляла, что за пение платят деньги. Первый заработок потратила на сладости и на подарок маме. Но на первые свои гонорары не могла позволить себе разгуляться. Высшая концертная ставка была 19 рублей за три песни, за сольный концерт – две ставки. У камерной певицы высшая ставка была 33 рубля, а сольный концерт стоил 99, то есть три ставки, не две, как у эстрадных. Плюс доплачивали за мастерство – пятьдесят процентов, но вначале я о такой ставке и мечтать не могла. Знала лишь одно: нужно трудиться, расти, расширять кругозор, оттачивать мастерство.

Довольно скоро стало понятно, что гастроли и занятия в университете понятия несовместимые. Приходилось часто пропускать лекции. Группа, где я занималась, состояла из девяти студентов, и, как ни взглянут преподаватели: где Пьеха? – Нет Пьехи! Так что вскоре меня вызвали к декану, он заявил однозначно: «Пьеха, это не учеба, вас нет на половине лекций. Так и до отчисления недалеко…» Призадумалась: что делать? Обратилась за помощью к нашему декану, профессору Серебрякову, он сказал мне, что помочь в этом вопросе может лишь Министерство высшего образования. Ну, я и отправилась в Москву. Но к министру Стробыкину попала не сразу: три дня провела на вокзале – гостиница была не по карману. Потом сидела у него в приемной не один час, когда уже было объявлено, что он вот-вот меня примет. Секретарша, видя, какая я все замученная, уставшая, сочувствуя, дала мне мокрое полотенце и предложила привести себя в порядок. Я не вошла, а влетела в

кабинет министра, он посмотрел на меня, спросил: «Что случилось?» – «Я хошу петь». – «Так пойте», – говорит он. «Но я хошу и учиться!» – «Так учитесь!» – «Вы поймите, я же должна делать и то, и другое!» – «Так поступайте в консерваторию». – «Нет, я хочу стать психологом. И петь…»

Долго он пытался понять, чего я от него хочу. Была такой взвинченной, что не могла толком объяснить. Пришлось вкратце пересказать свою биографию. После этого он при мне снял трубку телефона, позвонил моему декану и личным распоряжением разрешил мне учиться «заочно», т. е. я могла не посещать лекции, но нужно было готовиться и сдавать сессии. Министр, взяв с меня обещание, что я буду учиться только на «4» и «5», отпустил меня с богом. Так я в то время стала единственной студенткой в истории философского факультета, окончившей его заочно. В моем дипломе была только одна «четверка», остальные «пятерки», но поработать мне пришлось немало.

Кстати, спустя много лет мы выступали на Украине, в Запорожье. Там проходили «Дни культуры России», и после концерта за кулисами ко мне подходит мужчина и говорит: «Я – Стробыкин, спасибо, что вы не подвели меня, я интересовался вашей судьбой, у вас в дипломе только одна «четверка». Мне было очень приятно, что он меня запомнил.

Та пора была замечательной. Все в новинку, мы открывали для себя новые города, знакомились с интересными людьми, но самое главное, мы постигали такое явление, как успех, и начинали понимать, что он состоит из разных компонентов: труда, терпения, таланта и не только. Броневицкий ни на минуту не выпускал нас из виду, все время оттачивал наши программы, корректировал, что-то дополнял, писал для нас новые песни. Мы были его главным проектом.

Поначалу все шло хорошо: нас сердечно принимали зрители, пресса писала об ансамбле «Дружба» и его солистке Пьехе как о новой странице в истории советской эстрады. Пока мы выступали как самодеятельные артисты, отзывы в основном были положительные, но стоило нам начать выступать от Ленэстрады, как посыпалась критика. В газете «Ленинградская правда» появилась статья некого музыковеда по фамилии Гершуни, в которой ансамбль «Дружба» обвинялся в антисоветизме и пропаганде буржуазной идеологии. Содержалась там и рекомендация «выстирать кабацкую певичку по самое декольте». Эта злополучная статья стала «отмашкой» для всех остальных недоброжелателей, словно кто-то махнул флажком, и все побежали. Нам сразу припомнили все: и то, что мы поем

«буржуазный джаз», что мой акцент позорит советскую эстраду, а некоторые вообще утверждали, что я – явление временное: «Год-два попоет и уйдет». Жесткой критике подвергалось все: от моего внешнего вида до необычного тембра голоса, то, как я двигалась на сцене, какие песни пела, но самое ужасное было то, что, когда все эти тучи над нами сгустились, Броневицкий сразу обнаружил свою несостоятельность. Он был тверд и суров, когда командовал ансамблем и его солисткой, а когда надо было бороться за нас, он как-то сразу сник. И каково было мне, двадцатилетней девушке, для которой вся музыкальная карьера только начиналась? Как я должна была чувствовать себя в подобной ситуации?

Спустя пару дней после выхода статьи Гершуни Броневицкого вызвали на худсовет при обкоме партии, где и сообщили безрадостную новость: «Дружбу» закрывают. Причем этот приговор вынесли люди, ровным счетом ничего не понимающие в музыке. У нас был шок, все наши музыканты остались без работы, без средств к существованию, концерты были запрещены, никаких записей на радио и телевидении. Мы не знали, к кому обращаться. Советовались, с кем могли. В то время мы с Шурой часто ездили на дачу в Ольгино к нашим друзьям композитору Андрею Петрову и его жене Наталье. Нам нужно было ощущать поддержку тех, кто был за нас. Мы приезжали в живописные места Ленинградской области, в гостеприимный дом, где нас встречали как родных, днем устраивали стихийные пикники: жарили на костре сосиски, как пионеры в летнем лагере, о настоящих шашлыках тогда никто не мечтал, и во время небольших застолий обсуждали сложившуюся ситуацию, пытаясь понять, что делать. Всем нам было страшно поверить, будто все закончилось. Страшнее всего было за Броневицкого: мы все видели, насколько тяжелой для него оказалась эта ситуация. Тогда я впервые увидела Сан Саныча по-настоящему сломленным. Но решение не приходило. Однажды, когда мы вернулись домой, он грустно посмотрел на меня и сказал: «Я же говорил: нас закроют, наша карьера закончена». – «И ты решил сразу сдаться?! Нет, мы будем бороться!»

Я сама не ожидала такой реакции от себя, как будто вдруг все прояснилось. Стало понятно, что судьба нашего ансамбля в наших собственных руках. Кинулась в комнату и стала собирать сумку – бросать в нее вещи и все необходимое для поездки.

– Ты куда?

– В Москву, в Министерство культуры.

– Что ты можешь сделать, к кому ты пойдешь?

– Там должен быть кто-то выше, чем этот худсовет, – ответила

я.

Да, решение пришло неожиданно. Почему мы должны сидеть и ждать у моря погоды? Никто за нас не вступится, кроме нас самих. Мне казалось, что Сан Саныч что-то сделает, заявит громко, что все эти номенклатурщики не правы, но он не был борцом, а я всегда была такая: с одной стороны, стеснительная, неуверенная в себе, но, когда на голову начинали падать кирпичи, отваги мне было не занимать: детство и юность я жила в состоянии борьбы.

В Москве пришла в Министерство культуры. С порога заявила: «Я к министру, товарищу Михайлову Николаю Александровичу». Ни больше, ни меньше. Секретарша в приемной от моей наглости опешила. «Но он так сразу не принимает, только если ваше дело важное…» – «Очень важное», – отрезала я и всем своим видом продемонстрировала, что это именно так. Попасть к министру действительно оказалось делом непростым. Секретарша, видя мое упорство, сжалилась и посоветовала: «У нас есть руководитель всех музыкальных ансамблей эстрады, его зовут товарищ Холодилин Александр Александрович». Тогда мне это имя ничего не говорило, но позже я узнала, что он был замечательным человеком, музыкантом, близким другом Дмитрия Шостаковича, о нем очень тепло отзывалась супруга композитора Андрея Петрова, Наталья. Только сейчас я понимаю, что, возможно, мне помог мой акцент, который тогда был еще довольно заметным. И… отчаяние в глазах, что бывает лишь у тех, кому нечего терять. Хотя это не соответствовало истине: мне было что терять. К тому моменту я настолько втянулась в нашу музыкальную жизнь, в гастроли, каждодневные репетиции, в процесс самовоспитания, поиска имиджа, что когда прогремела гроза, ужаснулась, ибо не могла представить, что все это может закончиться. Поэтому мой приезд в Москву был неким актом самосохранения, отчаянным броском «на амбразуру», если можно так сказать. Никто, кроме меня, не мог отважиться на такое. Не потому что я была такая отважная, а потому что считала: во всем нужно идти до конца. Моя решимость дала плоды.

Александр Александрович оказался вежливым, внимательным, справедливым человеком. Для начала он выслушал меня, а я рассказала все как на духу: «Пою французские и польские песни. Ансамбль у нас профессиональный, все музыканты с образованием. В худсовете было всего два или три музыканта, и он стал требовать от нас, чтобы мы пели про партию, но мы поем совсем другие песни – веселые, жизнерадостные». На что Холодилин спокойно сказал: «Как вам удалось таких врагов нажить? Что ж, давайте послушаем вас». На

следующий день вся «Дружба» в полном составе была в Москве, пели самые удачные песни из разных концертных программ. Кроме Холодилина было еще несколько членов министерского худсовета. Каким облегчением для нас стали аплодисменты этих людей. В тот же день в Ленинградский обком партии отправилась команда восстановить наш коллектив в правах и дать нам «зеленую улицу».

Стоит немного забежать вперед. Однажды мы выступали в ЦДРИ, в Москве. И после очередной песни на сцену поднялся очень пожилой мужчина, и я не сразу поняла, кто это. Он протянул мне цветы и сказал: «Моя фамилия Гершуни, когда-то я написал о вас не очень хорошую статью, обидел вас, тогда я не понимал, насколько вы талантливы. И не мог предвидеть, то вы станете столь любимой зрителями Артисткой. Позвольте мне принести извинения за ту статью…» Да, такие ситуации очень греют, когда ты видишь, что отрицательное мнение людей по отношению к тебе меняется в лучшую сторону. Значит, труд не прошел даром.

После этого случая Броневицкий меня зауважал. Видимо, он понял: за то, что мне дорого, я буду бороться до конца. А для ансамбля «Дружба» началась вторая жизнь, своего рода Возрождение. Новые песни – Александры Пахмутовой, Станислава Пожлакова, Марка Фрадкина, Александра Фляркovского, как свежий ветер в парусах.

Рождение Артистки

Жизнь в Польше все дальше и дальше уходила в прошлое. Впереди была неизвестность и надежды, но они приносили мне больше радости, чем мечты юности, ведь я поняла, что нашла себя. Песня постепенно становилась для меня частью жизни. Я погружалась в процесс под названием «Пигмалион и Галатея». Галатеей была я, Пигмалионом – угадайте кто – да, Александр Александрович Броневицкий. И у него это мастерски получалось. Временами болезненно для меня, но было понимание, какой это трудный и увлекательный путь. Меня часто спрашивают, как я жила с Александром Александровичем Броневицким. Не стесняясь, говорю: да, это был служебный роман. Не вижу в этом ничего плохого, сначала возникла влюбленность, потом чувства укрепились, нас соединяла работа, песни, гастроли, и это только способствовало нашему сближению. Замечательно, когда муж и жена делают общее на двоих дело.

Люди, плохо знавшие Сан Саныча, считали его хамом и деспотом. А между тем жесткость и категоричность были не более чем защитной реакцией. Но и эта «броня» на поверку оказывалась тонкой, если возникала настоящая проблема, Шура сразу опускал

руки, становился беспомощным, жалким. Правда ли, что он бывал со мною груб? Когда женщина рожает, она кричит. А Броневицкий «рожал» каждую песню и был ко мне очень строгим. За все двадцать лет, что мы были вдвоем, похвалу от него я слышала всего один раз. Обычно он делал короткие замечания – «плохо» или «хорошо». Ничего не проходило мимо него, любую мелочь схватывал сразу. Гораздо чаще я слышала от него, какая я бездарная, некрасивая, сутулая, как фальшиво пою. Еще он любил говорить, что я безнадежна и не поддаюсь дрессировке, а я не могла быть такой, как он хотел. Я была собой.

Тем не менее мне так хотелось заслужить его похвалу, что я стала заниматься самокопанием. Наблюдала, спрашивала совета у старших коллег и вскоре открыла для себя, что артистка должна быть красивой, всё делать красиво, нести себя по сцене. Всегда очень переживала и анализировала те замечания, которые Броневицкий делал мне по работе. Он был для меня учителем, и благодаря его требовательности я работала и делала все, чтобы он был доволен мною.

В один «прекрасный» день я вышла на сцену без всякого настроения. И после концерта Броневицкий мне сказал: «Если ты так будешь петь, то лучше никогда больше не пой!» Тогда я придумала просить друзей записывать все на магнитофон и потом все это анализировала. Актерскому мастерству училась у самой себя, глядя на фотографии и кадры своей кинохроники, работала над ошибками.

За что я особенно благодарна моему «Пигмалиону», так это за то, что он постоянно обращал мое внимание на детали. Быть артисткой – это целая наука, и я твердо решила ею овладеть: слушала западных исполнителей, училась читать ноты, работать с дыханием, держать паузу, искала свой собственный стиль на сцене. Броневицкой неоднократно, без обиняков, говорил мне: «Ты детонируешь, поешь фальшиво, не дотягиваешь ноты». Я не понимала: «Как не дотягиваю? Я же пою». Попросила записать мое выступление на магнитофон. На сцене я не могла слышать, как пою – фальшиво или нет. Поняла, когда послушала запись.

Втайне от Сан Саныча нашла педагога по вокалу, этот чудесный человек объяснил, откуда берутся фальшивые ноты. Я узнала, что есть диафрагма и связки, и если они слабые, то, когда певец берет дыхание, они плохо смыкаются, нота получается недотянутой. Так стала понимать, откуда у меня берутся фальшивые ноты. Перед выступлением стала распеваться, и вскоре педагог сказал мне: «Вам надо в оперу, у вас такой хороший диапазон». Я ведь могу и высоким голосом петь, но решила все-таки петь только своим, низким.

С разрешения педагога записала свои распевки, разогревающие диафрагму. Включала маленький магнитофон и шла куда-нибудь распеваться. Перед каждым концертом распевалась, потому что Броневицкий строго следил за каждым моим звуком. Однажды на почве «распевки» произошла смешная история. В то время в гримерках туалетов не было, вот я и пошла «распеваться» в общественный. Пришла, заперлась в кабинке и затянула… Вдруг слышу: кто-то зашел, испуганно замолкаю, и в тишине туалета отчетливо раздается: «Вот упилась баба, как завывает-то…» Я перепугалась, долго ждала, пока неожиданная визитерша уйдет, даже боялась из туалета выходить.

Что касается образа, то определила для себя, что мне близок образ Джины Лоллобриджиды – она была всегда элегантная, чувственная, женственная, с копной невообразимо пышных волос, тонкой талией. Особенно меня «зацепила» её прическа – принесла парикмахеру её фотографии: «Давайте сделаем такую же». – «Это надо начесывать, – стала она мне объяснять, – химию делать, лаком закреплять». Попробовали. Все равно ничего не получалось – не похожа я на нее. Тогда стала искать свой образ, перед двумя зеркалами начесывать самостоятельно, постепенно методом проб и ошибок получилось что-то похожее, что мне понравилось.

Прической дело не ограничилось. Я не считала себя красивой и все время думала, как можно в лучшую сторону изменить внешность – хотелось что-то подправить, дорисовать. На сборных

концертах, сидя в гримерных рядом с профессиональными артистами, смотрела, как они рисовали себе глаза. Подсматривала, спрашивала и по крупинке постигала эту науку. Гримироваться профессионально научилась у немцев. Меня очень полюбили в Германии, приглашали туда более 30 раз и на телевидение, и с концертами. Немецкие гримеры трудились над моим лицом, мне нравилось, а я спрашивала: «Как это называется, зачем вы это делаете?» Мне объясняли и даже дарили грим, так я стала сама себе визажистом. Хотя «визажист» – это французское слово, я предпочитаю слово «гример».

Почти сразу на первых выступлениях услышала от Сан Саныча очередной «комплимент»: «Расправь плечи, ты сутулая». Объяснять, что так происходит из-за моего высокого роста, было бесполезно. К тому же сам Броневицкий был невысоким, и лишнее напоминание, что я выше его ростом, могло обернуться не в мою пользу, поэтому решила поучиться у тех, для кого походка часть профессии, – у балерин. И вновь везение: судьба познакомила меня с солисткой Кировского театра Нинель Кургапкиной. За кулисами во время одного из сборных концертов на вопрос: «Как научиться также красиво ходить?» – получила ответ: «Ходи с прямой спиной, как будто палку проглотила, а ногами ступай так, будто идешь на лыжах». Попробовала, не скажу, что получилось сразу, неудобно было с непривычки, но ничего, овладела и этим мастерством.

Кроме Кургапкиной у меня были замечательные друзья: Алла Ким и Шалва Лаури. Мне очень повезло, что судьба свела меня с этими замечательными людьми. Они были совершенно потрясающими танцорами старой классической школы, мы много лет ездили вместе на гастроли. Их выход был в первом отделении, где они исполняли танцы народов мира и делали это настолько профессионально, с душой, что наш ансамбль во втором отделении выходил «на взлете»… Мы не только хорошо сочетались в концертной программе, но и за пределами сцены общение с ними очень помогало мне по жизни. Первые уроки артистической жизни я получила в том числе и от них, это они учили меня: «Уважай своих слушателей, не считай их виновными, если плохо аплодировали, значит, это ты была не в форме». Отсюда родилась моя формула: «Публика не виновата, что меня плохо приняли. Виновата я».

И еще важный штрих, за который я им благодарна. Однажды Алла Ивановна меня спрашивает: «Дита, почему ты всегда в тапочках выступаешь? На сцене нужно быть элегантной, а ты в этих же тапочках что на сцене, что по улице…» – «И что мне делать?» – смущенно спросила я. «Нужны туфли на каблуке!» – «А

где их взять?»

На очередных гастролях повели меня Алла Ивановна и Шалва Георгиевич в комиссионный магазин, где после долгих мучительных примерок мы выбрали чешские «лодочки» на восьмисантиметровом каблуке. В них я не то что ходить, стоять не могла. В гостинице первым делом кинулась в крыло, где шел ремонт. Выпросила у рабочих ножовку и, заперевшись в номере гостиницы, отпилила у каблуков половину. До самого вечера училась ходить на четырехсантиметровых, да ещё и неровно обрезанных обрубках, а вечером вышла в новых туфлях на сцену. «Совсем другое дело!» – заметил после концерта Шалва Георгиевич.

Для меня было очень важно учиться у старших коллег. Чтобы овладеть мастерством, нужно уметь впитывать опыт предшественников, поэтому я всегда была чуткой в этом отношении. Еще студенткой попала в консерваторию на концерт Любови Орловой. Это был настоящий взрыв эмоций. Она вышла на сцену в открытом платье нежно-салатового цвета, весь лиф которого состоял из блёсток. Она мне показалась такой красивой! Даже пение её не слушала, а только смотрела на неё и мечтала когда-нибудь стать такой же. Это стало для меня точкой отсчета. Еще мне всегда нравились французы, особенно Эдит Пиаф, – она была для меня как Бог. Мне хотелось взять хоть частичку от её таланта. Замирала, когда слышала её голос. Далида, Жильбер Беко… В Польше были прекрасные исполнители: Слава Пшибыльская, Эва Демарчик. Мне нравилось то, как они играли песню, проживали её.

Редкой удачей для меня стало знакомство с Клавдией Ивановной Шульженко. У кого, как не у нее, можно и нужно было учиться артистическому мастерству?! Наше заочное знакомство с ней состоялось 1 мая 1959 года. Гуляя по солнечному Запорожью, услышала песню «Руки»: «Руки, вы словно две большие птицы. Как вы летали…» Тогда на столбах висели репродукторы, я остановилась, потрясенная, завороженная, поняла, что слушаю не просто певицу, но и актрису. Ещё не имея понятия, кто такая Шульженко, стала расспрашивать у всех: «Кто это?» Песня Клавдии Ивановны оказалась для меня как первая любовь, как восход солнца, и я сказала себе: «Это твои песни, Пьеха, ты должна петь так!» Тут же напела коллегам то, что услышала. Они воскликнули: «Так это же Клавдия Ивановна!» Ну, а потом афишу увидела, побежала на концерт. Всматривалась в каждый жест, вслушивалась в её голос, запоминала, как она владеет модуляциями, как ни на мгновение не теряет связь со зрительным залом. Шульженко стала моим духовным идеалом – она поразила меня своей элегантностью, в ней было столько красоты и величия, что, увидев её, подумала: «Я тоже должна выходить из машины так, чтобы все смотрели и говорили: «Какая красивая!»

Довольно скоро поняла: концертов мало, нужна реальная

встреча, нужно непременно с ней поговорить. Но наше знакомство произошло не так быстро, как мне того хотелось. Добивалась я аудиенции у Клавдии Ивановны почти два года: у нее была строгая Шурочка – и гример, и костюмер, и администратор – ближайшее доверенное лицо, как сегодня говорят. Не сразу меня допустили «к телу». Наконец разрешение было получено, и я приехала домой к Клавдии Ивановне на улицу Усиевича, где она жила. Предварительно Шалва Георгиевич и Алла Ивановна подсказали мне, что Шульженко любит розовые гвоздики, – они-то это хорошо знали, так как выступали с ней вместе еще во время войны.

Тогда достать розовые гвоздики было ох как трудно, но мне удалось. И вот с большущим букетом её любимых розовых гвоздик я приехала к Клавдии Ивановне домой. Представьте себе, она вызвала своего аккомпаниатора Давида Владимировича Ашкенази и специально для меня спела несколько песен. Какое это было счастье – сама Клавдия Ивановна пела для меня! Я была на седьмом небе! Более того, она еще взяла меня под свое крыло, дала несколько очень ценных советов. В ответ на мое восхищенное: «Какие у вас поющие руки, Клавдия Ивановна! Как сделать, чтобы мои руки тоже запели?» – услышала: «Деточка, если сердце поет, то и руки запоют». Мы несколько раз встречались после: Шурочка разрешала иногда приехать к Клавдии Ивановне на кофе. Мы много говорили, она что-то подсказывала, объясняла, делилась воспоминаниями о концертной жизни. И однажды – я могла об этом только мечтать – приехала на мой концерт, поднялась на сцену и сказала: «Вы будете известной певицей». И добавила: «Только вот, пожалуйста, не носите на сцене платьев выше колен».

На 25-летие творческой деятельности я получила от Клавдии Ивановны букет розовых гвоздик – огромная честь для меня! Очень приятно осознавать, что её уроки артистического мастерства не прошли для меня даром…

Благодаря подобным урокам жизни очень скоро я сделала вывод, что, как говорил Леонид Осипович Утесов, «на эстраде может выжить только личность, человек, который постоянно совершенствуется. Ни в коем случае нельзя останавливаться, нужно постоянно расти, быть в движении, двигаться своим курсом». Поэтому даже после знакомства с Шульженко продолжала совершенствоваться: искала себя, подмечала, наблюдала. Хотела овладеть секретами существования на сцене – нравилось, когда артист делал из песен театр. В этом плане был виртуозом Александр Вертинский. К великому сожалению, его песни мне довелось слышать только на пластинках, а как

хотелось увидеть его живьем, на сцене. Девочки из общежития рассказывали, каким он был необычным, утонченным, словно из другого мира. «Он настоящий артист», – говорили они. Я даже купила билет на его концерт в Театре эстрады, прихожу и вижу объявление: «Концерт отменен по причине смерти Александра Николаевича Вертинского». Для меня это стало потрясением. Очень жаль. Лишний раз это убедило меня в том, что все надо делать вовремя, в том числе и учиться. Великие мастера уходили и уходят, и мы можем просто не успеть стать их учениками.

Образ артиста состоит не только из пластики, грима, вокала… Костюм – вот что является одной из важнейших составляющих. Побывав на концертах Любови Орловой и Марлен Дитрих, я поняла, что артистка должна быть королевой на сцене, хотелось праздника, события. А в моем детстве именно этого не хватало – праздника, и вместе с ним – зрелищности, красоты. В театр впервые попала только в 18 лет, в Ленинграде. Сформулировала для себя идею, что платья для женщины – вторая кожа. Ну, не было у меня тогда богатых платьев, но те, что были, отличались элегантностью. В шутку я называла себя вешалкой, на которой хорошо смотрятся все мои платья. Никогда не стремилась быть модной певицей, была как одинокий остров в океане, на который люди с удовольствием покупают путевки, потому что там хороший климат. И всегда с первого своего выхода на сцену пыталась создать этот теплый климат.

Я стала, пожалуй, первой актрисой после Клавдии Шульженко и Любови Орловой, которая одевалась только у профессиональных модельеров. Но поначалу, когда моя

музыкальная история еще только начиналась, не могла себе этого позволить. Иметь собственные платья, сшитые модельерами на заказ специально под тебя, было роскошью. Для тех, кто не мог себе этого позволить, существовали так называемые «казенные» наряды. И случилась у меня на этой почве история, за которую стыдно до сих пор. Была в то время в Ленинграде певица Лидия Клемент. Она взлетела на эстрадный небосвод стремительно, сразу стала любимицей миллионов, но вскоре тяжело заболела и ушла в 26 лет. Почти накануне её смерти случилось следующее: наши казенные концертные платья хранились на складе Театра эстрады. Но некоторые из них модельеры «Ленконцерта» шили под меня. Я уехала на гастроли. И вдруг мне звонят и говорят: «В твоих платьях поет Лидия Клемент». Как выяснилось, собственных платьев у нее не было, вот она и взяла одно из моих. И я вспылила, хотя знала про её болезнь. Некрасиво получилось. Моих-то платьев было всего три-четыре, и я тряслась над ними страшно: для артистки платье очень важный элемент образа, оно должно сидеть на ней идеально и отражать внутреннее состояние. Я рассудила тогда: как же так, зрители меня запомнили в этом платье, и вдруг в нем выходит другая певица – получается, что оно общее?! Вернувшись в Театр эстрады, потребовала у Лидии вернуть мне платье. До сих пор вспоминаю этот эпизод с содроганием. Низко поступила. После, когда она уже ушла, я долго мучилась, вспоминала, каждый вечер молилась, чтобы она в том мире простила меня. Надеюсь, мои молитвы были услышаны.

После того случая решила, что нужно искать модельеров вне Театра эстрады. И тут помог один из моих знакомых фотографов. Фотографы вообще люди интересные, профессия обязывает их быть наблюдательными, терпеливыми и упорными. Судьба свела меня с двумя уникальными людьми: Мирославом Муразовым и Валерием Генде-Роте. Муразов был не просто фотографом, но фотохудожником, делал фотографии необычайно красивые, чувствовал верный ракурс, прекрасно умел подчинять технику себе, знал, с какой точки меня надо снимать, поэтому мои портреты, сделанные им, часто покупали иностранные журналы. К сожалению, его постигла страшная участь – он погиб в автокатастрофе.

С Валерием Альбертовичем Генде-Роте мы познакомились интересным образом. Поначалу он преследовал меня, был своего рода папарацци, ходил за мной везде с фотокамерой, меня это даже раздражало первое время. Тогда только-только в обиход вошло это слово после фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь». Там у одного из героев была такая фамилия, и он был

фотографом. Так вот, Валерий Генде-Роте преследовал меня везде, залезал вечно на какие-то заборы, вышки, чтобы «щелкнуть» меня, а потом его снимки появлялись на страницах газет. В общем, ничего страшного в этом не было, снимки у него были хорошие, и вскоре мы даже подружились. В 1968 году итальянский журнал «Tempo» заказал агентству ТАСС репортаж обо мне, а Генде-Роте как раз работал фотокорреспондентом в ТАСС, он-то и должен был меня снимать. И тут выясняется, что в моем гардеробе нет нарядов, соответствующих случаю. Он мне и говорит: «А давай я тебя познакомлю с одним интересным человеком, он модельер, весь такой стиляга, необычный… Работает в Доме моделей, на Кузнецком мосту». И мы отправились в гости. Приходим. К нам выходит молодой парень в оранжевом пальто и малиновых сапогах. Представляете, сочетание какое?! Со стороны это выглядело как-то вызывающе, необычно. В первый момент я даже испугалась: неужели он будет шить для меня, с таким-то вкусом? Но никогда нельзя судить о человеке по первому впечатлению.

Это и был Вячеслав Михайлович Зайцев. Он внимательно посмотрел на меня, понял, что я в шоке от его наряда, а ему, казалось, только этого и надо. Присмотревшись, я поняла, что столь экстравагантный наряд – это вызов обществу, той традиционности и скучности, что была утверждена как основа. Я поняла, что передо мной бунтарь, человек неординарный, сам создающий законы и живущий только по ним. Понравилось то, что он не стеснялся своего наряда, держался спокойно, с достоинством.

Вышел он и говорит: «А, Пьеха… Пьеха, слышал, есть такая артистка, это вы? О, какая хорошая фигура, с удовольствием что-нибудь буду придумывать». Так благодаря Валерию Альбертовичу Генде-Роте завязалось мое творческое содружество с Вячеславом Зайцевым, которое продлилось долгие годы. Взаимопонимание между нами возникло мгновенно, он признался в этом чуть позже: «Пьеха, ты мне очень нравишься, песни у тебя хорошие, поэтому буду одевать не тебя, а твои песни». Золотые слова. Как точно он подметил эту особенность, не потому ли ему удалось создать несколько самых выразительных, самых «моих» платьев, которые подходили к конкретным песням, становились их образным сопровождением. В этом и был гений Зайцева, он всегда смотрел не на человека, а вглубь него, спрашивал, чем он занимается, через что выражает себя. Хотя это не мешало нам жутко спорить, у каждого из нас было свое видение. Когда я что-то предлагала сделать по-своему, Слава матерился, он жуткий матерщинник, а потом говорил: «Знаешь, ты была права. По-твоему и впрямь лучше». Так нами было сделано белоснежное платье с аппликациями в виде букетов розовых гвоздик.

Вячеслав Михайлович помог мне создать фирменный стиль – придумал мои «летящие» концертные платья, определил правильную цветовую гамму – «восточная»: бирюзовый цвет, белый, розовый, сиреневый, изумрудный, лимонный. Их я

предпочитаю до сих пор. Жаль, у меня не сохранились его первые платья, они были очень красивые, из кримплена – коралловые, лимонные, фиолетовые с подсолнухами…

До Зайцева я сотрудничала с Тамарой Александровной Дмитриевой, она работала в Доме моделей на проспекте Вернадского. В 1965 году, во время моей поездки в Париж, в «Олимпию», именно её платье выбрала для моего выхода на сцену супруга Кокатрикса. Но лишь Зайцеву удалось «угадать» мой стиль. У нас очень ладно все вышло: и сотрудничество, и дружба. Еще я была для него очень «ценным кадром», как раньше говорили. Платья его стоили недешево, одно платье примерно 1000 рублей – по тем временам сумма катастрофическая, а я тогда за сольный концерт получала 38 рублей – такой была официальная ставка «Ленконцерта». Многие мои коллеги «брали в конвертах», а мне мой директор Софья Семеновна Лакони сказала по этому поводу: «Диточка, если вы возьмете хотя бы рубль в конверте, я от вас тут же уйду…» И что мне было делать? Я ей ответила: «Хорошо, Софья Семеновна, буду работать по три концерта в день, чтобы заработать на платье у Зайцева». Помню, кто-то меня спросил: «А что же Зайцев, он ведь ваш друг, и вы его друг, не пристало с друзей деньги брать?» Я возражала: «Он ведь не только себе берет деньги, у него множество расходов. Материал надо купить? Надо. Портнихе, технологу заплатить надо? Надо. А само оборудование, на котором все шьется, разве не требует заботы и технического обеспечения? Требует. А налоги? Вот и получается платье за 1000 рублей».

И я нашла выход из положения. Кроме того, что вкалывала, как безумная, везла Вячеславу Михайловичу ткани из-за границы. Он меня так и называл «добытчица». Знала, что ему понравится, и привозила удивительные по красоте экземпляры. Потом получилось и у нас хорошие материалы доставать. Происходило все следующим образом: прихожу я к директору Дома ленинградской торговли Соловьеву, говорю: «У вас в отделе за валюту очень красивые ткани, а я артистка, и мне надо красивые платья на сцену, но за рубли же не продают». А он, к слову сказать, положил на меня глаз, это было заметно по тому, как он на меня смотрел. Подумал и говорит: «Заходите ко мне через пару дней, я попробую с Москвой этот вопрос решить». Прихожу через пару дней и слышу: «Поздравляю! Нам разрешила Москва из валютного отдела за рубли по одному отрезу взять, сколько вам на платье надо?» Говорю: «Ну, метров 5–6, платья я люблю длинные, широкие – солнце-клеш». Директор ДЛТ вздыхает: «Это много, конечно, но мы постараемся и этот вопрос решить». И решал. Так что благодаря товарищу Соловьеву в моем гардеробе

скоро появились наряды такой неимоверной красоты, что меня все спрашивали: «Где, как, познакомь, помоги достать». Потом в газетах начали писать, что Пьеха платья в Париже покупает у ведущих кутюрье. А вы бы видели, как горели глаза у Зайцева, когда я ему все эти отрезы приносила, – он просто захлебывался от восторга! Он сам по себе человек эмоциональный, а все эти невообразимые ткани доставляли ему неописуемую радость. И действительно: помню, был совершенно белоснежный кримплен, настолько белый, что глазам было больно смотреть. Это вообще очень ноский материал, удобный: он не мялся, его можно было стирать. И настолько он мне нравился, что скоро появились платья из кораллового и фиолетового кримплена. Эти платья можно было возить с собой, что для меня, как для артистки, было очень важно. Вот и получилось, что благодаря директору ДЛТ и Вячеславу Михайловичу Зайцеву я вскоре стала обладательницей внушительного гардероба. Его наличие очень радовало костюмеров в Польше и Германии, где я часто выступала. В Германии особенно оценили это на телевидении, куда меня часто приглашали сниматься: они были довольны, что меня не надо одевать, – у меня есть свой гардероб.

Но в плане цветовой гаммы у меня есть табу: все, что угодно, только не черный цвет. Для меня это цвет траура. Более того, цвет, опасный для меня. Никогда не забуду, как в новогоднюю ночь с 1970 на 1971 год надела очень красивое черное платье, в котором снималась в фильме «Судьба резидента». И в 1971 году 3 августа скончалась моя мама. Так что черный для меня цвет беды.

Я не люблю слово «звезда».
Что-то холодное, далекое.
Больше по душе мне понятие любимец
публики или любимица.
В этом есть тепло, человеческое
расположение.

Мы будем ваши песни вспоминать,
и нам будет не страшно идти».
И я им пела «Огромное небо».
Я привозила целый мешок записок
с телефонами — позвонить родным,
позвонить маме, позвонить девушке,
жене: «Я жив. Я обязательно постараюсь
вернуться». Понимаете,
я им дарила надежду.
И это все благодаря песням.

Выставка концертных платьев в Шереметьевском дворце, июль 2017.

Мой сегодняшний сценический гардероб огромен. Я бережно

храню свои концертные платья, потому что они связаны с теми или иными событиями в моей жизни, с песнями. Правда, многие платья погибли из-за плохих законов, которые были у нас в советское время. Все концертные наряды, в которых я выступала, становились казенными, государственными, и каждый артист мог иметь ограниченное количество платьев. Когда число платьев превышало положенное, их списывали и… сжигали. Мне всегда было больно расставаться с ними, ведь эти платья – моя биография, история моих песен, мои успехи и неудачи. Умей они говорить, наверняка сказали бы: «Помнишь тот концерт? Было трудно, но ты выступила хорошо». Сегодня в моей коллекции, представленной в Павильоне воспоминаний, около 100 концертных нарядов. Для удобства каждому из них я дала название и обычно говорю костюмеру: «Возьми «Капусту», «Этажерку», «Павлина».

Тогда же я четко определила для себя, как много на сцене значит длина платья. Если вы молоды, можете позволить себе носить все самое короткое, потому что на вас работает юность. Если вам тридцать, можно носить мини, но надо знать меру. А вот если за тридцать, то, как мне говорила Клавдия Ивановна Шульженко: «Не надо уже коленки показывать, деточка. Зачем вам вообще на сцене ножки? У вас есть сердце, голос, душа. А коленки – это незачем». Я очень ей доверяла и эту фразу запомнила.

Так постепенно, с каждым новым выходом на сцену, я формировалась как артистка. Вырабатывались профессиональные привычки, одна из которых – уважительное отношение ко всему, что происходит на сцене. Сцена своего рода молебен в церкви. Туда я всегда выхожу с чистыми руками – мою их перед выходом. Никогда не позволяла и не позволяю себе некрасиво обращаться с цветами, которые дарили и дарят зрители. Букеты всегда лежат на столе или рояле, вместе со мной участвуют в концерте.

Мое прилежание дало свои плоды. Сутулость исчезла,

появилась прямая осанка, расправленные плечи, плывущая походка, высоко поднятая голова. Менялось мировоззрение, взгляд на мир, отношение к профессии. Всего этого я достигла не потому, что меня муштровал мой муж и руководитель ансамбля – это была моя собственная воля, стремление подняться выше в мастерстве.

Непростая участь Галатеи

Конечно, Броневицкий видел перемены, происходящие со мной, но похвалу я от него слышала очень редко. Почему? Не знаю. Может, это был такой метод – не давать спуску своей Галатее, чтобы она не теряла форму. Иногда он переходил границы, унижал публично, когда свидетелями наших стычек становились другие люди. Я терпела и, несмотря ни на что, ценила то, что он для меня делал. Одного он не замечал: с каждым днем стеснительная, закомплексованная девочка, дочь бедного польского шахтера, уходила в прошлое. У меня не только расправились плечи, но и душа. Я становилась смелее, сильнее, каждое утро вставала с мыслью, что «бой продолжается», была готова к новым столкновениям с препятствиями.

Но иногда мне казалось, что мы с ним разговариваем на разных языках без переводчика. Меня пугало то, что всем своим поведением Александр Александрович демонстрировал, что наша совместная работа для него на первом месте, а наша личная жизнь – на втором. Он был человеком дела, а мне хотелось ласки. От мужа я прежде всего ждала заботы и защиты, как в детстве – от своего папы. Поэтому мне все время казалось, что Сан Саныч скуп на эмоции, на нежность. Вместо этого он словно подстегивал меня своими резкими замечаниями. Не успевала я справиться с одним недостатком, как он подбрасывал мне новую задачку. Хотя, если говорить объективно, это пошло мне на пользу. Но в рабочих буднях иногда хотелось отдушины, нежности, а он словно боялся этого. Никогда не делал подарков, не дарил цветов, когда я робко спрашивала про цветы, он, не моргнув глазом, отвечал: «А те, что дарят тебе зрители, не цветы?» Всерьез считал, что букетов, полученных на выступлениях, мне вполне достаточно. Но ведь то были подношения артистке, а хотелось знаков внимания ко мне, как к женщине. Если у меня был день рождения и я спрашивала про подарок, он удивлялся: «Какой подарок? Сейчас придут друзья, будем за тебя пить – вот тебе и подарок. И потом: все деньги у тебя. Иди и купи, что хочешь». Один-единственный раз он купил мне серьги из янтаря, и я расстроилась, ведь серег не носила, у меня и уши-то не были проколоты.

Что это было: мужская невнимательность или что-то еще? Скорее всего, первое. Тому я находила простое объяснение: Александр Александрович был настолько поглощен музыкой, что она занимала все его мысли. Ни на что иное он не хотел отвлекаться. В такие минуты я спрашивала себя: почему мы вместе, почему я с ним? Наверное, все-таки между нами было чувство, но если я относилась к нему как к мужчине, обладавшему притягательной внешностью, острым умом, сумасшедшим обаянием, на свет которого слетались многие женщины, то я для него была прежде всего авторским проектом, Галатеей. Он лепил меня соответственно собственному великому замыслу. Он хотел быть Наполеоном, строящим под себя свою Францию. Эту версию подтверждает один памятный случай. Во время гастролей в Харькове, где мы были с Сан Санычем, ансамблем и Муслимом Магомаевым, в голове мужа родилась безумная идея. В местном театре он взял три костюма: меня одел как «поверженную Францию», Магомаева – Гитлером, а сам нарядился… кем бы вы думали? – Наполеоном. Как это было точно. Именно таким он и был – блистательным, талантливым, деспотичным, целеустремленным, готовым покорить всех и вся. Этот замысел оформился моментально, как и все, что он создавал. Стремительность была одной из его фирменных черт, её порождала мощнейшая внутренняя энергия, которая бурлила в

нем через край. Она же наделила его талантом делать шаржи, точные, дерзкие, очень психологичные, в которых он определял и выражал типаж любого человека. И только я была у него «ахиллесовой пятой», он так и признался однажды: «Всех могу нарисовать, а тебя – нет! Ты все время разная, постоянно меняешься!»

Я понимала, что наш ансамбль и моя профессиональная стажировка требуют много сил. Понимала, как уставал Броневицкий, особенно это было заметно по вечерам, дома. И все равно мне, недолюбленному ребенку, хотелось любви. Не просто хотелось, я физически начинала болеть, когда обнаруживался недостаток любовной энергии. Приехать в другую страну, другой город и попасть в неравные отношения, в которых один любит, а другой позволяет себя любить – ну уж нет! Это не для меня. То, что Броневицкий меня все-таки любил, я поняла спустя много лет, когда мы развелись и наши общие друзья стали рассказывать, как он мучается. Но тогда, в начале 60-х, будучи еще совсем неопытной в таких вопросах, терзалась, сомневалась. Потребность в нежности приводила к самым разным ситуациям.

Одна из них была связана с французским певцом Энрико Масиасом. Я влюбилась в него без памяти, но это было абсолютно платоническое чувство, хотя довольно сильное. Когда узнала, что он приезжает на гастроли в Москву, сразу поехала, купила билеты. Масиас был хорош необыкновенно. Мало того что он прекрасно пел, его голос обладал удивительным диапазоном. Чаще всего нежный, проникновенный, он завораживал. Я была покорена. После концерта попросила билетерш передать ему цветы. Еще он мне нравился не только как певец, но и как мужчина. Но я же была замужняя женщина, поэтому ничего, кроме платонической любви, позволить себе не могла. Пришла к нему за кулисы с просьбой подарить хотя бы одну пластинку, в СССР их не было. Но он сказал, что с собой у него пластинок нет. Дал номер телефона в Париже и сказал, что я могу позвонить. А мне так хотелось, чтобы он меня запомнил! Поэтому еще раз пришла на концерт, а после снова прошла в его грим-уборную, но на этот раз сама принесла букет цветов, – да, я была тогда такой дурочкой. И сказала ему: «Меня зовут, как вашу великую певицу, – Эдит, запомните, пожалуйста». Он ответил: «Да, хорошо, звоните». Через две недели решилась позвонить в Париж. К телефону подошел какой-то мужчина: «Что вы хотите?» Представилась, он: «Подождите у телефона, спрошу у него…» Прошло несколько минут, я снова слышу его голос в трубке: «Он такую не знает, извините». Мое сердце так и ухнуло в пятки. В этот момент я поняла, сколь незавидна участь поклонниц. На

этом мое воздыхание по Энрико закончилось.

Но потребность в любви не иссякла. В начале 60-х годов на гастролях в Черновцах познакомилась я с молодым композитором Станиславом Пожлаковым. Он как раз к тому времени перешел из областной филармонии в Ленконцерт и был там руководителем ансамбля, кроме этого, прекрасно играл на саксофоне и пел. А «Дружба» гремела по всему Союзу. Встретились мы, посмотрели друг на друга, и возникла искра, хотя было заметно, что Слава робеет. Не удержалась, влюбилась. И вот идем мы с ним однажды с реки – в шесть утра, в обнимку, а на балконе гостиницы стоит Броня, так друзья называли Броневицкого, и смотрит на нас… Нехорошо так смотрит. Думаю: ну, все, конец настал. Муж кричит Славе: «Я тебя сейчас застрелю!» Но Пожлаков оказался таким отважным, поднимается в гостиницу, в наш номер и спокойно говорит Броневицкому: «Саша, мне Эдита нравится очень, но я тебя слишком уважаю». Вроде гроза прошла стороной.

На этом история не закончилась. Слава стал писать для меня песни: «Причал», «Зачем снятся сны», «Подснежник», «Не заставляйте женщин плакать», «Горько», «Ветреный день»… Мое чувство к нему все не проходило, и вот на этой почве приключилась история в Ялте. Я понимала, что влюблена, но старалась все держать при себе, открытых проявлений боялась. Завела себе записную книжечку и стала заносить туда свои переживания. Помню, написала однажды: «Слава, ну почему ты не подойдешь ко мне, ну почему не скажешь: «Здравствуй, я так переживаю». Прятала книжечку где-то под кроватью. Однако Броневицкий обладал удивительным чутьем на такие вещи – черта, свойственная очень ревнивым людям. Нашел мою книжечку, схватил ее, чтобы прочитать, мы начали бороться, я хотела ее выбросить в окно, но она упала на балкон номера под нами. Он побежал туда, нашел ее, прочитал. Что тут началось! Просто итальянские страсти. Я ему: «Как тебе не стыдно, это же не тебя касается!» – «Ну, ты ж мне изменяешь!» – «Я не изменяю, а только вздыхаю…»

Расплакалась, выбежала на улицу, схватила такси, кричу водителю: «Везите меня в Симферополь, в аэропорт!» Тот на меня смотрит: двенадцать часов ночи, девушка одна, вся в слезах. «Хорошо, – говорит, – поехали». Но я ему все рассказала, и на полпути этот человек повернул обратно: «Пусть ваш муж и ревнивый, но разбирайтесь с ним сами». Конечно, вернулась я как побитая, с Броневицким мы долгое время не разговаривали…

А со Славой Пожлаковым у нас ничего не было. Он просто вздыхал по мне, однажды сказал: «Я боюсь даже поцеловать тебя! Не могу сделать больно Броневицкому». Поэтому мы с ним только

кофе пили вместе в кафе «Север». Сан Саныч знал об этом, жутко ревновал. Я ему призналась, что Пожлаков мне нравится, но я к нему не уйду.

Был еще случай, когда мы встретились в Союзе композиторов, где проходила вечеринка – отмечали Новый год. Я там была с Шурой, и Слава с женой. Он вдруг взял и пригласил меня на танец, танцуем, близко-близко друг к другу, вокруг нас музыкальная элита столпилась: Эшпай, Андрей Петров, музыканты наши… Смотрят все, словно любуются, – видимо, они тоже что-то почувствовали. До нас доносится чья-то реплика: «Какая красивая пара». И стало мне вдруг как-то… не знаю, как описать, – во мне все замерло, понимаю, что внутреннюю дрожь не я одна испытываю. Подняла глаза на Славу и вижу, как он на меня смотрит. Не выдержала, взяла и сказала: «Давай вместе уйдем отсюда…» Но мы так и не ушли. Потом Слава мне сознался, что боялся меня. Мы ведь оба были сильными, а сильные личности с трудом уживаются друг с другом, кто-то один всегда должен уступать. Живя с Броневицким, я знала, что не буду уступать в новом союзе, и Слава знал, как я натерпелась с мужем. И все прекрасно понимал. Так у нас и не получилось ничего.

Отдельная «история» была с Муслимом Магомаевым, хотя на самом деле никакой истории не было. Одно время народная молва нас почти поженила, хотя мы даже не встречались. Не знаю, откуда пошел слух, что у нас роман. Может, кому-то показалось, что мы видная пара, а людям ведь нравится наблюдать за чужим счастье, и иногда его придумывают. Ничего и никогда у нас с Муслимом не было. Из реальных историй, помню, был его день рождения. Справлял он его в гостинице «Россия», потому что квартирой еще не обзавелся. Так вот, отмечал день рождения с размахом в банкетном зале и меня пригласил, в ту пору многие были в него влюблены. И вот на этом вечере он взял и подошел ко мне, что-то стал говорить, и взгляд у него был многозначительный – он умел смотреть на женщин особенным взглядом. Видимо, кто-то увидел это, и пошла молва, будто он не просто хорошо ко мне относится, но что-то есть между нами. А я даже не помню, что он тогда мне говорил. Не было у нас в реальности ни свиданий, ни походов в театр, ничего такого, но люди все равно придумывали, уж больно им хотелось нас поженить.

Между тем кроме любви и работы была еще учеба. В университете у меня последний курс, на носу выпускные экзамены. И снова в промежутках между выступлениями долгие

занятия в библиотеке допоздна. Экзамены я все-таки сдала, а вот с дипломной работой получилось так. Пришла к моему руководителю диплома – профессору, преподавателю по психологии личности, он был грузин, фамилию не помню, чтобы посоветоваться: «Тему диплома выбрала «Взаимоотношения актера и зрителя», но я много езжу, выступаю – что делать?» Кстати, меня часто спрашивали, почему я выбрала именно такую тему диплома, почему «Взаимоотношения не певца со зрителем, а именно актера»? Я всегда отвечала: потому что певец это тоже актер, он тоже играет своими песнями роль.

И вот мой руководитель посмотрел на меня и говорит: «Я имел счастье случайно побывать на вашем концерте, вы свой диплом уже сдали, я напишу вам отметку о сдаче диплома автоматом». На этом мои отношения с университетом закончились, я не проходила никакой практики, ничего больше не сдавала. В итоге я получила лишь справку о том, что прослушала шесть курсов, она хранится в деканате философского факультета.

Я – мама!

В пору своей семейной жизни с Броневицким я понятия не имела о том, как регулируют рождение ребёнка, из-за концертов малыша не заводила, но очень хотела. Мечтала, что рожу сына и назову его Станиславом в честь папы. И вот однажды пришла к Эрике Карловне, маме Сан Саныча, встала на колени: «Мама, если я рожу ребёнка, вы поможете воспитать его? Я же должна ездить на гастроли. Или отдать его моей маме в Польшу?» – «Что же ты раньше не сказала мне, что хочешь ребенка?» – «Боялась, стеснялась». – «Но я же больная». – «Вы вылечитесь, когда появится внук!».

Илонку я родила 17 февраля 1961 года. Преждевременно, на 6,5 месяце беременности. Случилось следующее. Сижу дома, звонит Сан Саныч из Петрозаводска, человек он был эмоциональный, хороший рассказчик, если о чем-то говорил, то обязательно в красках, и начинает рассказывать: «Как мы хорошо тут проводим время, подружились с манекенщицами…» Ну, я представила себе эту картину: он где-то там далеко с прекрасным полом, а я тут глубоко беременная, никуда не хожу, не пою, потому что на сцену в таком положении не выходят. Его брат Женя приезжает выгуливать меня, чтобы я по улицам одна не ходила, и тут такое… Фантазия разыгралась не на шутку. Женщина в положении – существо уязвимое. После этого звонка я никак не могла заснуть, где-то до 4 утра лежала-переживала, и около 5 начались схватки. На трамвае поехала в Снегиревку рожать. Там просидела в приемном покое не один час, на нервной почве схватки прекратились, меня положили в дородовое. Я опять разнервничалась, потом все-таки заснула – сказалась предыдущая бессонная ночь. И вдруг просыпаюсь вся мокрая. Подозвала проходившую мимо женщину в белом халате: «Что это из меня вытекло?» – «Да это, милочка, воды отошли».

Меня тут же повезли на каталке в родовой зал, акушерка начала шлепать по моему животу руками, чтобы я родила, а у меня ничего не получается, говорю: «Няня, больно!», а она мне: «Я не няня, а заслуженный акушер республики» – и продолжает физкультурные занятия. Я уже начала терять сознание, когда увидела у нее на ладони крошечный комочек: «Ну что, мамочка, поздравляю! Дочку мы с вами родили!»

2 килограмма 400 граммов моя Илонка была, глобальный недовес, её у меня сразу забрали. Не помню, сколько она пролежала в специальном боксе, потом мне её отдали, и мы выписались. Долго с ней мучилась: она плохо сосала молоко и плохо спала, по ночам кричала, потом вообще отказалась грудь принимать, мне пришлось сцеживать молоко, но и в таком виде она его не хотела.

Потом Эрика Карловна уговорила меня уехать на хутор в Латвию, там, в городе Валмиера, у них был дом. На свежем воздухе и деревенских натуральных продуктах Илона начала быстро поправляться. Мы пробыли там до восьми месяцев её жизни. Сегодня могу сказать, что проведенные на хуторе восемь месяцев были едва ли не самыми счастливыми в моей жизни. Поразительно, но даже мысли о том, что Сан Саныч не обделяет себя женской лаской, не приносили ни боли, ни обиды, я буквально упивалась материнством. Но тут Броневицкий начал меня бомбить телеграммами: «Без тебя погибаем!» Публика на гастролях «Дружбы» сдавала билеты: как так? «Дружба» поёт, а

где же Пьеха? Я долго не решалась оставить дочь на попечение свекрови, но Шура уговорил маму нянчиться с внучкой, а я поехала на гастроли.

Космическая одиссея

В семье у нас всегда говорили: «Твоя дочь – «космонавтка», потому что спустя два месяца после её рождения Юрий Гагарин полетел в космос. 12 апреля того года было очень тепло, окна были открыты настежь. Я пыталась грудью кормить Илонку, которая всячески отвергала этот способ кормления. И тут по радио сообщили о полёте Гагарина… Для меня это была какая-то сказка.

С этим замечательным человеком я встречалась дважды. Первая моя встреча состоялась в Переделкине, остался снимок Юрия Воронова, спецкора «Правды», где Гагарин меня тащит на спине. Предыстория такова: в те годы в Переделкине по инициативе ЦК комсомола часто собирались журналисты, композиторы, артисты. Нас с Броневицким и «Дружбой» пригласили однажды на такой уик-энд с ночевкой. Там были Гагарин и космонавты, Пахмутова с Добронравовым. Мы стали играть в волейбол, а я азартная, если уж что-то делаю, так по-настоящему, не заметила, как кто-то наступил на ногу или я её подвернула и выбыла из игры. Сижу, плачу от боли. Гагарин подходит и говорит: «Не плачь», взгромоздил меня на плечи, как мешок с картошкой, сам-то он был мне по плечо, и потащил в медпункт.

Второй раз мы с ним встретились в гостинице «Юность», где после какого-то концерта организовалось небольшое застолье. Мы с Сан Санычем уже уходили, в фойе Гагарин играл в бильярд, и кто-то из комсомольских деятелей спросил меня: «А слабо сыграть с Гагариным?» Я никогда не играла, но Сан Саныч сказал: «Сыграй, раз предлагают». Ну, я взяла кий и давай забивать шары – один, второй… Забила ему три шарика, которые оказались решающими. Гагарин сел на пол и сказал: «Сейчас расплачусь, меня обыграла артистка…» Это происходило после застолья, поэтому он, может, и играл, а, может, поддался, так как был настоящим джентльменом. Жаль, что он так рано ушел….

Космонавты – отдельная категория в кругу наших друзей. Благодаря общительности Броневицкого к нам приходили самые «верхи». Например, Герман Титов, но с ним общаться было гораздо труднее, чем с Гагариным. Юрий Алексеевич рубаха-парень, веселый, простой, а Герман Степанович человек закрытый. Перед его приходом Сан Саныч намекнул, что было бы неплохо подать что-нибудь оригинальное на стол. Я, как хорошая жена, тут же побежала на рынок и взяла там миноги. Думаю, от жареных миног Титов придет в восторг. Вернулась домой,

приготовилась жарить, прежде посолила их и на сковороду. Слава богу, первым их попробовал Сан Саныч, а не Герман Степанович. Взял кусочек, съел и бегом в туалет. Ничего не понимаю. Потом выяснилось: соль я взяла у соседки, потому что своя закончилась, а это оказалась сода. Сюрприз не удался.

Мне Леонов очень нравился, может, потому, что они с Броневицким были похожи. Они оба рисовали, у нас осталось много рисунков Леонова, подписанных на память.

Вместе с Валентиной Терешковой я несла транспарант в Софии на IX Всемирном фестивале молодежи и студентов. А вот и чудо телевидения: в 1985 году, во время длительного полета Савиных и Джанибекова, выступала для космонавтов в прямом эфире. В один из таких сеансов связи состоялась премьера новой песни «Сентябрьская мелодия» А. Флярковского и А. Дидурова. Космонавты попросили кассету с песней. Я срочно полетела в Ленинград, примчалась на радио, уговаривала редакторов: «Давайте накатаем кассету нашим космонавтам». Мы сделали аудиокассету, и я в этот же день отправила её в Москву самолетом. Кассету встретили и ближайшим грузовым кораблем доставили на орбиту. Это было огромное для меня событие. В

следующем прямом эфире с космонавтами они мне показывали живую орхидею, которую вырастили там, в космосе.

А еще случилась история с космонавтом Егоровым, в Париже, довольно смешная. После одного из концертов к нам за кулисы пришли Феоктистов, Комаров и Егоров, благодарят за выступление, а Егоров глаз с меня не сводит: «Давайте выпьем, – говорит, – по бокальчику вина». – «Ну, давайте!» – «Давайте я провожу вас до гостиницы». – «Не надо». А гостиница-то буквально в двух шагах, и он уже был, что называется, хорош: все-таки Париж, все молодые… Короче, каким-то чудом я от него удрала, ушла в номер, закрылась. Вдруг стук. «Кто?» – «Это я, Егоров, откройте!» – «Не открою! Я уже легла спать». Все это продолжалось до полуночи, пока я не заснула. Наутро открываю дверь, а он лежит, похрапывает. Тут меня вызывает руководительница делегации и в крик: «Как так! Что было? Как вы смели не впустить его в номер?» – «Ночью, Надежда Аполлинариевна?!» – «Ну и что, он же советский космонавт!» Вот вам и повод для слухов. К сожалению, Броневицкий всегда этому верил, а меня это очень обижало.

Счастливые знакомства

Отдельная, важная глава моей жизни – знакомства с замечательными композиторами. Саныч Саныч был очень коммуникабельным человеком. Благодаря ему в мою жизнь вошли такие замечательные люди, как Оскар Борисович Фельцман и его супруга Евгения Петровна.

Познакомились мы с Оскаром за кулисами Театра эстрады во время нашего сольного концерта. Я исполняла песню «Я верю, друзья». По окончании выступления в своей грим-уборной увидела очень обаятельного улыбчивого человека, который просто представился: «Оскар Фельцман». Так состоялось наше знакомство. Он признался, что мое исполнение его песни оказалось для него большим, но приятным потрясением. Так начался период нашего плодотворного сотрудничества. Этому не помешало даже то, что я жила в Ленинграде, а Фельцман в Москве. Всякий раз, когда нам удавалось приехать в Москву, он нам звонил и спрашивал: «Куда же вы пропали? У меня есть для вас чудесная мелодия, приходите». И мы приезжали к ним в гости, жили они тогда в центре Москвы, на Огарева, рядом с Телеграфом. Встречали нас очень радушно. Евгения Петровна, супруга Фельцмана, была большая мастерица по части готовки. Происходили душевные посиделки в гостиной, которые часто перетекали в творческий процесс: Оскар Борисович садился за рояль, их шумный дом тут же затихал: «Тише, тише, Оскар сочиняет!» И из-под его пальцев лились мелодии, одна лучше другой… Еще мне нравилось, что был он очень непосредственный, и всякий раз как у него что-то выходило хорошо, он очень бурно радовался, а если что-то не получалось, жутко переживал.

На людях я обращалась к нему по отчеству – Оскар Борисович, все-таки народный артист РСФСР, выдающийся композитор, а в обычной жизни ласково звала его Оскарчик, и ему это очень нравилось. Ко мне же он относился как к своей дочке, трогательно, нежно.

С выдающимся композитором Оскаром Фельцманом.

За все время нашего знакомства он написал для меня около 20 песен. Одна из первых – «Венок Дуная»; её он доверил мне исполнить в начале 60-х годов, когда у меня был еще довольно сильный акцент, но его это не остановило. Лучшие мои песни – его. «Огромное небо», «Венок Дуная», «На тебе сошелся клином белый свет», «Манжерок», «Ничего не вижу», «Любовь», «Никогда», «Кто бы мог подумать»… Потом у него были другие певцы и певицы, кто-то лучше пел, кто-то хуже, но я первой получала его песни. Он выбирал песню и говорил: «Эту Эдита споет». Не знаю почему, наверное, он чувствовал, понимал, какая песня моя. Потом, спустя много лет, я участвовала в передаче, где Оскар Борисович, уже в годах, давал интервью и очень ласково и трепетно говорил обо мне. Мне было приятно читать, когда Оскар Борисович называл меня лучшей исполнительницей своих песен. Я знала, что он не лукавит, потому что видела, что он не только как композитор, а просто по-человечески радовался тому, как я исполняю их. Как я могла не быть признательна ему за те песни, которые он мне дарил? Когда я пела их, слушатели замирали. Я невероятно счастлива, что мне довелось их петь и что он

удостоил меня чести петь их первой.

Незвездные тернии

Судьба артиста такова, что личная жизнь всегда оказывается на втором плане. После появления Илоны для меня наступил трудный период. Став матерью, я тем не менее несла ответственность не только перед дочерью, но и перед большим творческим коллективом во главе с его художественным руководителем и по совместительству моим мужем Александром Александровичем Броневицким. Если кто-то думает, что статус жены как-то облегчал мою профессиональную участь, он ошибается. Временами мне казалось: не будь я его женой, он был бы со мной более ласковым.

Не последнее значение имели мнения «доброжелателей», которых вокруг ансамбля всегда хватало. И с каждым годом, чем активнее «Дружба» набирала популярность, тем все более «доброжелательными» были мнения. Находились люди, игравшие на самолюбии Броневицкого, на его слабостях. Они нашептывали ему, что «Если красной строкой будет написано: «Эдита Пьеха и ансамбль «Дружба», то ты, Шура, будешь на третьем месте, ты превратишься в аккомпаниатора». И Броневицкий меня прижимал. А я, естественно, обижалась: у меня уже проснулось артистическое самолюбие. Видела, что, когда меня не было на концертах, публика сдавала билеты, но он продолжал верить «доброжелателям».

Первый кризис, который мы пережили в 1959 году, ясно показал, что Шура не боец. Ситуация переломилась лишь благодаря моим усилиям. Вскоре в прессе стали появляться статьи, в которых музыковеды доказывали, что наше творчество – это новое молодежное направление в музыке. Польская газета «Trybuna Ludu» написала: «Если Утесов и Шульженко открыли новые страницы в истории советской эстрады, то ансамбль «Дружба» и Эдита Пьеха сделали то же самое».

И все равно сложности оставались. Одной из них была моя принадлежность к иностранному государству. По этой причине несколько лет я была невыездной – даже в Москву не могла поехать, не отметившись в ОВИРе. По прибытии опять должна была отметиться, и, уезжая из столицы, нужно было поставить штамп, какого числа я выбыла. Очень это было мучительно. К тому же в СССР были так называемые «закрытые города», куда въезд иностранцам был категорически воспрещен. В связи с этим в Днепропетровске произошла одна история. Приехал наш ансамбль «Дружба» на гастроли, и с ним приехала я как солистка. Вот мы уже в кулисах, перед залом, где должно состояться

выступление. Ко мне подходят кагэбэшники в гражданском и говорят: «Гражданка Пьеха, пройдемте». Я говорю: «Что такое?» А мне: «Мы должны вас арестовать, вы иностранка, у вас нет права находиться в этом городе». Но я не растерялась, спрашиваю: «Кто ваш начальник, нужно все объяснить, у меня целый зал зрителей, куда я пойду?» Один из сотрудников госбезопасности оказался вежливым, дал мне телефон своего начальника, мне набрали номер, я начала говорить, что у меня польский паспорт, но я студентка Ленинградского университета, много выступаю, вот и сейчас я стою в кулисах концертного зала, через несколько минут нам нужно выходить на сцену, а меня пришли арестовывать. Этот генерал спрашивает: «А как ваша фамилия?» – «Пьеха», – отвечаю. Он: «Ой, та самая Пьеха, любимица моей жены», – и зовет супругу: «Катя, Катя, иди сюда…» – и дает ей трубку. Она берет: «Ой, неужели это вы?» – «Да, – говорю я, – но тут такая история, меня хотят арестовать, потому что я иностранка, а здесь полный зал людей, не могли бы вы попросить мужа как-то решить эту ситуацию, бывают же исключения. Дайте нам выступить, а потом мы уедем». И мне разрешили выступить благодаря Екатерине, супруге генерала.

Я понимала, что без советского паспорта мои мытарства будут продолжаться, поэтому написала маме, что буду получать советское гражданство, на что мама ответила: «В твоих жилах течет польская кровь, а какого цвета у тебя будет паспорт, не важно. У меня тоже был французский паспорт, но в душе я осталась полькой». Мои же родители много лет провели в иммиграции во Франции, у них был вид на жительство. Мои мучения закончились в 1968 году, когда мне наконец разрешили принять советское гражданство и вручили советский паспорт.

Долгое время меня не записывали на радио из-за сильного акцента. Поклонникам мой акцент никак не мешал, наоборот, он был своего рода «изюминкой», делавшей меня ни на кого не похожей. Но тем, кто сразу меня невзлюбил, казалось, будто я бравирую акцентом и в целях саморекламы нарочно коверкаю русский язык. Как я могла его коверкать, когда я его вообще не знала?! Акцент был жуткой проблемой, даже пришлось заниматься с логопедом, но постепенно, год за годом он стал смягчаться. Сегодня я сама его почти не слышу, хотя иногда говорят, что он есть, просто не столь сильный.

Тогда, в 60-е годы, бед от него было много. Например, из-за него чуть не закончился печально мой первый выход на высокий уровень. 1962 год. Нас с «Дружбой» пригласили на правительственный концерт в Кремле. Я должна была петь песню Фрадкина «Летите, голуби». Пела так: «Пусть летъят онъи, летъят

и нигдъе нъе встречъяют пръегръяд». Неделю нас мучили репетициями, а за три часа до концерта сказали: «Ваше выступление может не понравиться товарищу Хрущеву, поэтому не будем рисковать – ваше выступление отменяется». Я шла по Красной площади и всю дорогу от Кремля до гостиницы «Москва» поливала горькими слезами, была наивной и считала, что это огромное событие – участие в правительственном концерте.

На долгие годы у меня сохранился страшный мандраж перед официальными праздничными концертами. Таблетки успокоительные глотала, потом в себя три дня прийти не могла. Неестественно все это! В Кремле по паспорту на сцену проходили! А куда его прикажете деть в концертном платье? Не любила я эти концерты, когда должна была кому-то угождать.

Был такой случай, запомнился на всю жизнь. Мы с ансамблем выступали в ГДР с концертами для Западной группы войск. А тут посол наш Петр Андреевич Абросимов вызывает к себе и говорит: «Надо спеть. Вы на немецком что-то знаете?» – «Знаю». – «Тогда спойте четыре-пять песен, – говорит он. – И хорошо бы, если еще «Огромное небо». – «Спою. А для кого петь?» – «Для Брежнева и Хоннекера. У них будет торжественный ужин». – «Я боюсь». – «А вы не бойтесь. Я буду с вами».

И вот приходим в посольство, прием в очень узком кругу, меня, как всегда, колотит, ищу глазами – там всегда был наготове какой-нибудь искусствовед в штатском, говорю: «Принесите мне бокал вина, иначе я умру, не спою!» Таблетки уже не помогали. Выпила, под «наркозом» спела «Огромное небо», гляжу: на сцену поднимается Брежнев с огромным букетом роз. Обомлела. Он протягивает мне цветы. «Большое спасибо, – говорю ему и вдруг добавляю: – А поцеловать?» В душе я еще та хулиганка, но тогда сама испугалась от такой смелости. Он повернулся, обнял меня и поцеловал в щечку. Ну и что, что поцеловал? Все в рамках этики. Я потом его букет засушила. Позже наш посол еще раз разрешил нам выступить на свой страх и риск перед членами компартии в Западном Берлине. Тогда все прошло без потрясений.

С той поры все кому не лень спрашивали: в каких отношениях я была с представителями государственного аппарата? Ни в каких! Были ли у меня покровители? Нет. Покровитель – это тот, кто помогает. Мне всегда помогали простые люди, а не кто-то из высших структур. Хотя по долгу службы мне иногда приходилось что-то выбивать для ансамбля, просить за весь художественный коллектив, чтобы не закрыли. Да, приходилось «выходить на ковер» неоднократно, но я никогда не хитрила, не плела интриги, не пыталась понравиться как женщина. Мне иной раз намекали, а

иногда и прямо говорили: если хотите сделать карьеру, надо быть посговорчивее. К сожалению, некоторые чиновники имели обманчивое представление об артистках, как о существах легкомысленных. Однажды мой муж пригласил ночевать к нам одного очень важного чиновника из Министерства культуры. Сан Саныч пошел ставить машину в гараж, а чиновник начал ко мне приставать – у них это, вероятно, было естественно. Я выкрутилась, заперлась на ключ в своей комнате, а он остался стоять в коридоре. Никогда и никому я не давала повода к подобным «ухаживаниям» и всегда держала дистанцию, потому что ценю свое достоинство. Может быть, меня спасает моя польская кровь? Польки – женщины гордые!

А был еще один «эпизод». Как-то мы с «Дружбой» выступали на партийной конференции. За кулисами Романов, тогдашний глава Ленинградского обкома партии, подошёл к Броневицкому и, протянув ему 10 рублей, сказал: «Пусть твои музыканты постригутся, они же не стиляги». Это было так некрасиво! Я хотела поговорить с ним, но, как только сделала шаг в его сторону, мне охрана тут же преградила дорогу, сказали: «Субординация не позволяет вам говорить с Романовым, он вас не ждёт».

Проблем было много, но мне казалось, что все они не касались конкретно меня. Броневицкий был авангардным по тем временам музыкантом, он опережал время, в котором жил, за что ему, конечно же, и доставалось. Ему не повезло: он родился не в свое время. Если бы он позже появился на свет, то занял бы гораздо более высокое положение. А тогда ему постоянно обрезали крылья за «пропаганду буржуазной идеологии». Он же делал аранжировки, которых до него не было и в помине. И во всем он был талантлив: лепил, рисовал шаржи, руководил. Когда у нас репетиции шли, даже чихнуть нельзя было – все, репетиция идет: «Перерыв объявлю – будете чихать». То есть он был диктатором, требовательным, жестким. Но это было очень интересно. Да, он был авангардистом, и в то время, когда существовали многочисленные худсоветы, его страшно унижали. И я переживала вместе с ним. У него, в конце концов, выработался такой «имидж», что он нападал на всех, не давая себя в обиду, потому что устал от обид. Это была его большая беда, но при этом он был необыкновенно талантливым человеком.

Мне тоже доставалось. Как-то прочла о себе в одной эмигрантской книжке: «Пьеха во Франции не стала певицей, в Польше тоже оказалась никому не нужна. А в Советском Союзе

певцов было мало, вот она и запела». Я из Франции уехала в девять лет, из Польши в семнадцать и просто физически не могла ни в Польше, ни тем более во Франции стать певицей.

Впервые и по-новому

Мы с Броневицким прекрасно понимали, что просто петь песни в этой стране не получится, нужно соответствовать: с одной стороны, той высокой новаторской планке, которую Броневицкий установил для себя и для всех участников нашего ансамбля, с другой – цензуре, которую еще никто не отменял. Страшное слово «худсовет» преследовало не только наш коллектив – от этого страдали очень многие музыканты в СССР, но нам казалось, что именно в отношении нас официальные цензоры очень строги. Например, никогда не забуду, какой разгорелся скандал, когда мы впервые спели «Шаланды, полные кефали». Броневицкий не хотел, чтобы мы просто пели, – нет, он придумал мини-спектакль на тему песни. У нас был музыкант Аллахвердов, рыженький такой, он выходил на сцену в платье, изображая рыбачку Соню, другой наш музыкант пребывал в образе Кости. Они «отыгрывали» всю драматургию сюжета, зрителям нравилось, а худсовет встал на дыбы. «Где это видано? Мужчина в женском платье, что за разврат?!» Запретили. Да и сама идея «театра песни» категорически не нравилась цензурщикам. Броневицкого сотый раз вызывали и строго спрашивали: «Вы что, не знакомы со стандартами поведения на сцене? Знакомы? Тогда что вытворяют ваши музыканты? И зачем?» Как он мог объяснить этим людям, что это необычно, свежо, что до него этого никто на советской сцене не делал? От нас хотели стандартного поведения: нужно было стоять на сцене неподвижно, а не танцевать. А я взяла и первая из всех советских артисток сняла со стойки микрофон, стала спускаться к зрителям, ходить по залу, приглашать людей подпевать мне. Во мне бурлила юность, мне хотелось чего-то необычного, много подсказывала органика, характер, была от природы сильной, любила свободу. Самовыражение было для меня важным. Считала, что на сцене надо быть живой, а не стоять – руки по швам по стойке «смирно». Сейчас этим никого не удивишь, все бегают по сцене в неимоверных нарядах, совершают кульбиты, за спиной солиста подтанцовка, подпевка, чего только нет! Тогда же мои «вольности» на сцене одними воспринимались как новаторство, другими – как ломка привычных традиций и не находили одобрения.

Когда я сняла со стойки микрофон, опять поднялась буря, опять Броневицкого вызвали: «Зачем ваша солистка бегает по залу с микрофоном?» К слову сказать, тогда микрофоны были на шнурах, далеко не убежишь, но мне казалось, что это правильно – артист должен идти в народ, это очень символично – во время песни спускаться к зрителю в зал. В такие минуты связь между ним и артистом становится еще крепче.

Потом я еще «учудила». Заговорила с публикой. Знаете почему? Да волновалась просто. Само собой все получилось, ничего надуманного: должна была новую песню исполнить, а у меня ком в горле встал – вот и принялась её комментировать, благо дар импровизации у меня от природы. Всегда нужные слова нахожу с легкостью. Ну, вот, начала перед песней что-то говорить, рассказывать и успокоилась. Потом меня на эту тему «пытал» Роберт Рождественский, а он заикался, и звучало это так: «С-с-таруха, ты что, в р-р-р-азговорники переквалифицировалась?» – «Нет, Роберт, я просто очень волнуюсь, а когда перекинусь с публикой парой слов, дрожь в коленках стихает…» Он почесал в затылке, подумал немного: «Может, ты и права». Стоит ли говорить, что почти сразу «разговорную» эстафету у меня перехватили другие артисты.

Старания Броневицкого не проходили бесследно, нам, как и ему, хотелось расти, меняться, удивлять тех, ради кого мы пели, но каждый раз, когда мы стремились что-то поменять, наталкивались на непонимание. А Сан Саныч тяжело переносил

подобные нападки. Как человек творческий, он обладал слабой душевной обороной, не умел противостоять подобным ситуациям, приходилось мне защищать его и наш коллектив. Выживание было моей второй профессией, но за что его никогда нельзя было упрекнуть, так это за фанатичную преданность коллективу. Он всё время жил тем, что создавал, был «модельером» «Дружбы», её «Диором», если хотите. Его «модели» работали великолепно, каждый вечер получали аплодисменты, но его фамилия всегда произносилась последней.

Я очень благодарна ему за те «озарения», что случались не так часто, как хотелось бы, но они происходили, и он всегда откликался, если чувствовал мои творческие порывы. Так получилось с «Балладой о хлебе», с песней, что пришла, как иногда я говорила, с улицы. Но немного предыстории.

Мне всегда была близка тема блокады, ведь я ребенок войны, хотя застала её, живя во Франции. Вместе с Броневицким мы часто бывали в гостях у его однокурсника по консерватории Николая Николаевича Кунаева, дирижера военного ансамбля песни и пляски. Он и его семья пережили блокаду, рассказывали, как они жили, чем питались, про бомбежки. Это нас очень породнило.

И вот однажды, готовясь к концерту, который был посвящен юбилею снятия ленинградской блокады, я поздно вечером возвращалась с репетиции домой. И вдруг на асфальте увидела брошенный кем-то кусок хлеба. Была потрясена – как такое может быть в городе, пережившем блокаду, всё во мне тогда взорвалось, и родились слова: «Те, кому хлеба того не хватало, на Пискаревском лежат… Черного, черствого, самого малого – они, даже мертвые, хлеба хотят…» Прибежала домой, рассказала мужу: «Шура, надо песню написать». – «О чем?» – «О хлебе. В городе, где люди умирали за кусок хлеба, он лежит на улице». Позвонили поэту Леониду Палею. Он приехал на такси, несмотря на то, что было поздно. Я ему рассказала, что увидела, и вместе с композитором В. Успенским мы написали «Балладу о хлебе». И уже через два дня, в концерте, я выразила свое отношение к подобному кощунству «Балладой о хлебе». Люди, перенесшие блокаду, плакали, не скрывая слез…

Общение со зрителями представлялось целой наукой, свои ошибки и победы я познавала на практике. Больше всего нравилось выступать в Ленинграде, который уже был как родной, хотя перед каждым выходом на сцену волновалась дико, как, впрочем, и сегодня. Предугадать, как отреагирует публика, невозможно. Представьте себе: пик успеха в зале Дворца культуры им. М. Горького, овации, цветы. Потом выступление в клубе им.

Цюрупы, что у Варшавского вокзала, я пою третью песню, четвертую – ни хлопка. Концерт был запродан какому-то учреждению. Вдруг открывается дверь, и в зал входит морячок. Все места заняты, он пробирается вдоль стенки поближе к сцене и начинает хлопать, да так звонко, от всего сердца, а ладони у него сильные, крепкие… И концерт вдруг пошел, стал набирать дыхание. И такой в результате был успех!

Было такое, что во Фрунзе нас уговорили выступать во

Дворце спорта, от чего я обычно отказываюсь. Выхожу на сцену и вижу огромное помещение на три тысячи мест, наполовину пустое. Такие ситуации воспринимаются болезненно, хотя знаю, что все кончится хорошо. Скрепя сердце, пою. Слушают превосходно, в конце устраивают овацию. Лед тронулся, но каких усилий это стоит! На следующий день зал почти полон, на третий – у входа спрашивают билеты – работает живая реклама.

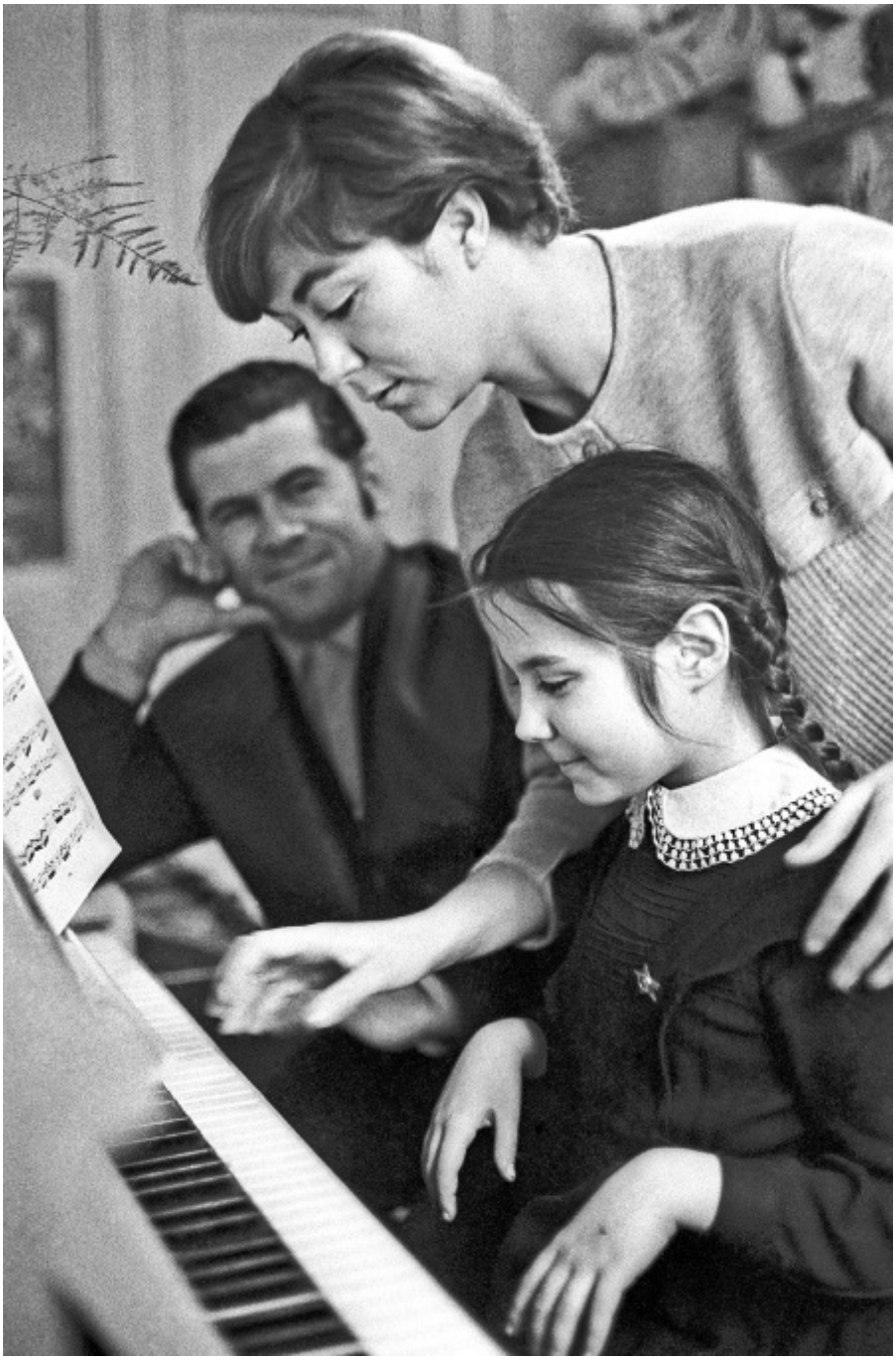
«Вырастет дочка моя незаметно…»

По-настоящему быть матерью мне удавалось, лишь когда позволяла работа. Но, несмотря на совершенно дикий гастрольный график, никогда не забывала, что у меня есть дочь. Илона с самых ранних лет была независимо и гордой, и, глядя на нее, я втайне гордилась, что она растет именно такой. Это наше семейное, умение всегда и во всем держать свою марку. В раннем детстве Илонка подрастала на хуторе под чутким присмотром Эрики Карловны. Позже, когда началась школа, перешла на попечение учителей, но никогда не была брошенным ребенком, всегда знала, что у нее есть мать и отец. До школы мы всегда брали её с собой на гастроли, особенно в южные города. По югу Союза ездили много, курортники и местные жители нас очень любили, благословенное было время! Тогда гастроли бывали – месяц в Ялте, месяц в Сочи, месяц в Геленджике. Так проходило лето.

Илона Броневицкая

«….*Самые яркие воспоминания о том времени – когда я еще не училась, меня часто брали на южные гастроли: в Сочи, Ялту, Геленджик… Позже я видела родителей только на школьных каникулах и тоже на юге. Какое это было счастье! Неописуемое. Мы с папой сразу шли купаться, где бы ни были, сразу – в воду. А мама вечно то укусы от комаров нам всем какой-то мазью мажет, то еще что-то придумает, и всегда такая элегантная, красивая. Она прекрасно понимала, что основное ее сокровище – внешность, и всегда его приумножала. В этот банк вкладывались все средства, и они давали действительно хорошие результаты. Мама делала все очень правильно. Думаю, она наделена не просто интеллектом, но чем-то более высшим. Эдита – особенная, в ней есть правильная сердечность, она действительно тепло и сострадательно относится к людям. Для нее простой человек, работающий где-то в гардеробе театра, и Брежнев – это одно и то же. Отсюда у нее тактичность и душевность, она умела и умеет разговаривать с людьми, не важно, кем они являются. А люди-то это понимают и понимали всегда, видели, какой у нее талант разговаривать и убеждать, поэтому ее вечно просили за кого-нибудь заступиться, что-то кому-то организовать, отсюда все эти походы по «первым лицам». Все знали: Эдита Станиславовна обязательно найдет правильные слова. Я думаю, это дар. Особенно часто я наблюдала, как участливо мама общалась с людьми на пляже, в магазине. Было сразу видно, что она хорошая, очень хорошая.*

С папой тоже отдельная тема. Приезжаем к морю, папа говорит: «Так, все, срочно, давай, поехали, в машину…» и вперед – стрелять по бутылкам, купаться, куда-то ехать, что-то смотреть. Он всегда любил приключения. Вот Польша, ее дивные замки – иногда полные развалюхи, иногда вполне себе ничего. По дороге в замок он рассказывает: «Лася, мы едем в самый настоящий замок с привидениями, они там есть абсолютно точно, но видно их только ночью, а днем они на веревочке сушатся, и бояться их не надо, безобидные они…» Дальше мы приезжаем в этот замок, идем по лестнице, он тыкает пальцем в какую-то дверь, говорит: «В этой комнате они и висят…» Я: «А-а-а», а он: «Не бойся, они на веревочке».



Ну, и конечно, наша любимая с папой тема – это купание. Не важно, куда мы едем, но обязательно найдем место, где можно искупаться. У него все очень легко было: он никогда не обдумывал, что мы будем делать через час, спонтанно все получалось, словно играючи. И мне это очень нравилось. Мы с папой были не как дочь с

родителем, а словно ровесники-заговорщики. Игры были замечательные. Он все время что-то выдумывал. Когда мне было лет 13, он впервые посадил меня за руль. Это было в Ленинграде. Едем в машине, выезжаем на дорогу, что сейчас ведет к аэропорту в Пулково (но аэропорт еще не был тогда построен). Дорога абсолютно пустая, мы одни. Едем-едем, а он вдруг так резко по тормозам и говорит: «Выходи!» Выхожу. Он: «Садись сюда (за руль!)». Я: «Как, я же не умею!?» Он: «Всё, ладно, давай садись! Смотри: вот газ, тормоз, сцепление, скорость первая, вторая, третья, четвертая…» Это было классно. Я ехала за рулем самой настоящей машины. Папа очень чутко чувствовал во мне желание все попробовать, на собственной шкуре испытать, я ведь была пацанка. История с машиной имела продолжение на хуторе в Латвии, папа давал мне машину в гараж загонять. И передом, и задом. Ну, это было абсолютное счастье. Еще папа любил всю нашу семью и общих друзей организовывать, наряжать в какие-нибудь тряпки. Там, на хуторе, он находил невероятную одежду, раздавал ее всем со словами: «Давайте переодевайтесь, я буду фотографировать!» И такие фотографии получались, шедевр просто!

С мамой тоже, помню, забавный случай был: папе же спокойно не жилось, он все время что-то выдумывал. У нас остались фотографии с гастролей в Узбекистане: сидит Эдита на камне в национальной тюбетейке, в халатике, косы у нее на плечах огромные. Вокруг нее бараны стоят и папа рядом тоже – в халате и тюбетейке – с бараном общается, причем так выразительно…»

Она никогда не выглядела робкой или зашуганной. Учась во французской школе, ходила туда сама, без взрослых, училась хорошо, особых нареканий в её адрес от учителей я никогда не слышала, и Эрика Карловна не жаловалась на внучку, наоборот, они прекрасно ладили. Три раза в неделю к ней приходила учительница музыки, не скрою, мне хотелось развить в дочери природную музыкальность, которая, несомненно, в ней наблюдалась. Еще она прилежно занималась английским 2 раза в неделю, несмотря на столь плотный график, Лася находила время побегать в Некрасовском садике. Летом она отдыхала в «Артеке» несколько раз. Постоянно водила домой своих подружек, Эрика Карловна никогда не запрещала ей этого, наоборот, радовалась, что внучка умеет общаться и с ней дружат, всегда угощала её подруг чем-нибудь вкусным. Это приветствовалось еще и потому, что мы с Броневицким вечно пропадали на гастролях, а ребенок не должен ощущать недостатка в общении, другое дело, когда мы возвращались, радости не было предела. Я привозила дочке

подарки: как безделушки, приятные для глаз, так и удобную обувь, одежду. Делала все, чтобы она ни в чем не нуждалась.

Когда бывали выступления в ЦПКО в Ленинграде, на Каменном острове, то Илона обожала кататься на аттракционе «американские горки», что тоже говорило о ее бесстрашии: меня озолоти, ни за что не полезла бы на этот чудовищный агрегат, а ей хоть бы хны. В общем, она сама находила, чем себя занять, поэтому, повзрослев, она тоже не часто обращалась ко мне за помощью. Я первое время переживала, но потом поняла – у каждого должен быть свой опыт, даже в тех случаях, когда кажется, что ситуация схожа с моей собственной.

И все равно мне не хватало времени для того, чтобы я могла видеться с Илоной. Получилось, что она выросла на руках бабушки – Эрики Карловны, хозяйственной, хорошей кулинаркой. От дедушки ей досталось упорство, дисциплинированность, эрудиция, почти врожденная грамотность. Когда нужно было определяться со школой, был выбран не самый легкий вариант – французская школа. И мне всегда нравилось, что дочка принимала участие в определении своей судьбы. Она вообще с детства была очень серьезной и ответственной. Меня часто спрашивают: какими были наши отношения? Мы никогда не сюсюкали друг с другом. Я сама с четырех лет была никому не нужна, лишена ласки, тепла, защищенности, принадлежала сама себе. И поэтому долгое время стеснялась приласкать свою дочку, я просто не умела этого делать, боялась, что она меня не поймет. Может, из-за этого я что-то упустила, и Илона выросла «папиной дочкой». У них с Сан Санычем была особая связь, особое притяжение. Она обожала его, называла его «мой Чуча». Лася вообще у нас мастер выдумывать имена: бабушка у неё была Газус, сын Стас – Шмуча, я – Мамон (теперь, на её примере, для Стаса я – Бабон).

Примерно в 3-м классе Илона запросила у меня собаку. В принципе это не стало для меня неожиданностью, подобная тема возникала часто, учитывая, что в школьный период кто у нас только не перебывал, дочь подбирала и приносила в дом все живое, что нуждалось в помощи, тепле и корме.

Илона Броневицкая

«*...Первой моей собакой, на которую мне удалось уломать Эдиту, была дворняжка Джерри. Да, я жутко хотела собаку, наверное, я родилась с этой мечтой. И пока её не было, таскала в дом голубей с нитками на ногах, больных собачек и кошечек, которые потерялись. Мамы с папой дома не было, так что мне приходилось согласовывать «предоставление приюта» найденышам*

с бабушкой. А она была такой человек, что не могла отказать ребенку: вздыхала и всех принимала. Но мечта заполучить настоящую живую собаку в статусе друга меня не покидала. Для этого нужно было согласие Эдиты. «Выбивала» я себе эту собаку долго и упорно. Был третий класс школы, я начала выпускать журнал «Собака»: наклеивала какие-то репродукции картин с собаками из Эрмитажа, анекдоты про собак находила, давала описание пород. В общем, можно сказать, давила на родительскую психику. Было мне лет 9, и упорство оказалось моей второй натурой. Мама сдалась на № 5 журнала «Собака», пришла домой с щенком. Я так и не поняла, где она его взяла, сама она сказала, что у пьяницы купила. Прямо с порога заявила: «Её зовут Джерри». Это была дворняга типа лайки, белая с черными глазами. Жила она у нас очень долго и пережила четырех генсеков, лет 16–17 ей было, когда она ушла, у меня тогда уже Эрика родилась. Представляете, какая долгожительница: с моего третьего класса до рождения дочки!»

Но у нас с Илоной иногда происходило то, что бывает у девочек, которые хотят быть красивыми и понимают толк в вещах, например, история с костюмом, который она выбирала для меня в Париже, когда мы всей семьей поехали во Францию. Много денег нам не меняли, и надо было серьезно подумать, на что их потратить. Я мечтала о красивом выходном костюме. Поделилась этой мечтой с Илоной: «Лася, ты понимаешь, мне так хочется купить костюм, а ведь нас трое. Что будем делать?» Дочь ответила: «Это я беру на себя». И пошла к папе: «Папа, я хорошо учусь в школе и тут посчитала: обменных денег хватит для того, чтобы купить что-то маме. Ты доверяешь мне? Мы пойдем с мамой и купим ей костюм». Она сумела тогда его уговорить. Мы пришли в большой магазин «Galeries Lafayette», и Илона опять проявила свою находчивость. Мы подобрали костюм, пиджак был мне как раз, а брюки малы в бедрах. И тогда она попросила еще один костюм. Размером больше. Мы поменяли брюки местами, и так я стала обладательницей великолепного французского бархатного костюма, который потом очень любила и ходила в нем на торжественные приемы.

Меня часто спрашивают, присутствовала ли в моем воспитании строгость. Пожалуй, нет. Чтобы быть строгой с дочерью, надо быть с ней рядом постоянно, а у меня не было такой возможности, хотя, честно говоря, был один момент, за который мне до сих пор стыдно. В школе Илона, наверное, как и все дети, прошла период психологической ломки. Она грубила учителям, никого не хотела слушать, про меня говорила, что я то

ли кассирша в гастрономе, то ли ткачиха. Ей не хотелось, чтобы все называли её «дочка Пьехи и Броневицкого» – тогда наши имена были известны по всему Советскому Союзу. «Если в школе узнают правду, то будут смотреть на меня как на экспонат», – говорила дочь. На всю жизнь запомнила её слова. Именно этого она боялась всегда, что её будут считать несамостоятельной. Она и дома была такая же – все сама, никто ей был не указ. В третьем или четвертом классе впервые попробовала портвейн и в общем-то не сильно это скрывала. Я её спрашиваю:

– Почему ты это сделала?

– Все пили, и я решила попробовать, – ответила она. – Вкусно. Ты пила его когда-нибудь, мама?

– Портвейн не пила.

– Мама, это так здорово… Я и курю еще.

– Ты что, с ума сошла? Ты же будешь страдать за это.

И мы поругались. Причем очень крепко. Но это не тот случай, когда я подняла на нее руку. Поскольку меня наказывали в детстве много и несправедливо, то я не представляла себе, что смогу поднять руку на дочь, но в тот раз она что-то сильно упрямилась – очень сильно, – подскочила ко мне и стала барабанить кулаками мне в грудь. Я терпела-терпела, да как дам ей по попе, а рука у меня тяжелая – все-таки дочь шахтера! Отколотила я её тогда прилично, да так, что у самой рука болела долго, а у нее попа. Когда гнев прошел, мы сели и заплакали. Обе. А потом пришел дедушка – Александр Семенович и объяснил ей, что она была не права. Через несколько часов моя упрямая дочь подошла ко мне и сказала: «Ну извини, я больше не буду». С тех пор у нас не было таких случаев. Она поняла, что я не всепрощающая, а она перешла границу добрых взаимоотношений. Сегодня мы с ней друзья: я советуюсь с ней, она со мной. Но характер у нее другой, каждая из нас по-своему сильная. Она целеустремленная, коммуникабельная, очень талантливая, природой не обделенная.

В школе Илона училась очень хорошо, была образцовой пионеркой, мне не было за нее стыдно. Казалось, что она непременно свяжет свою жизнь с музыкой, ведь у нас была такая музыкальная семья: с одной стороны, мы с Сан Санычем, с другой – его брат Евгений, руководитель ВИА «Поющие гитары». Лася часто любила повторять: «Наша семья – это ВИА «Поющие гитары». Позже она признавалась, что в пять лет испытала настоящий восторг от пения своего дяди Евгения Броневицкого, который «пел на итальянском языке», и ей очень захотелось петь самой.

Был один случай, на тему которого мы долго шутили. Я выступала на сцене, на мне было красивое платье, нежное, со множеством складок, все воздушное. А Лася стояла за сценой и наблюдала, и глаза у нее были такие восхищенные. В перерыве между песнями я забегала в кулисы – попить воды и сразу обратно на сцену. И вот выхожу после очередного «глотка» и думаю: что такое, в складках платья как будто что-то запуталось. Оборачиваюсь и вижу: моя Илонка стоит вместе со мной на сцене и жмурится от яркого света софитов. Оказалось, что каждый раз, когда я заходила за сцену, она трогала край платья, чтобы ощутить его, так оно ей нравилось, «хотелось потрогать эту красоту», и так она увлеклась, что, когда я пошла на сцену, она отправилась за мной. Вот и оказалась Лася вместе со мной перед зрителями. И все наши знакомые, кто слышал эту историю, говорили: «Как после этого не стать артисткой?!» И все равно, я никогда не вела её за ручку по жизни ни в детстве, ни в юности. Ей всего хотелось добиться самой. Даже так получилось, что еще совсем маленькой она называла мамой не меня, а бабушку – Эрику Карловну, а меня звала Дитой. Она всерьез думала, что бабушка – это и есть её мама. Но для меня было важно, что ребенок ни в чем не нуждается. У них были чудесные отношения. Свою дочку Лася потом назвала в честь бабушки – Эрикой.

Но самостоятельность Илоны, в конце концов, дала свои плоды: в школе она попросила меня не приходить на выпускной. Хотя позже в одном из её интервью я прочитала, что этого не было, дескать, формат праздника и так не подразумевал присутствия родителей. Но я-то помню, как сидела в кустах, неподалеку от школы, вместе с подругой и обливалась горючими слезами, мол, родная дочь не пригласила меня на выпускной, и смотрела, как Илона уходит с одноклассниками гулять к Неве.

Та же история повторилась, когда она решила поступать в театральный институт. Тут она вообще «сплавила» меня в Юрмалу, в санаторий. Сказала: «Не сиди здесь, а то не удержишься, позвонишь кому-нибудь и скажешь, чтобы меня приняли, я буду самостоятельно поступать». И поступила. Она всегда очень болезненно относилась к тому, что она дочь знаменитой певицы, – не хотела, чтобы у нее в жизни были какие-нибудь привилегии за счет моего имени.

Илона Броневицкая

«…По-моему, когда я родилась, родители не очень этого хотели. Мама до самого последнего момента выступала, да и после родов быстро вернулась на сцену, перепоручив меня бабушке,

своей свекрови… Я вспоминаю свое детство как сплошное замечательное лето – Латвия, бабушкин хутор… Мы с бабушкой были такие подруги, такие спевшиеся! Мама с папой приезжали, уезжали. Я скучала без них, но понимала, что иначе нельзя. И даже не принимала это как событие. Я с этим родилась. Ничего другого не знала. Я не знала, что есть родители, которые постоянно дома. Так что нельзя сказать, чтобы я страдала в детстве из-за отсутствия родителей… Я не чувствовала, что живу в какой-то необычной семье. Я не ходила в детский сад, но гуляла вместе со всеми детьми – во дворе, на обычной питерской помойке. В лучшем случае дедушка брал меня с собой на каток. Это было праздником.

В школу пошла рядом с домом. Это была школа с французским уклоном. Первого сентября в первом классе я заболела. Это была трагедия. Я так плакала! Пришла в школу числа десятого… Не думала, что буду певицей или космонавтом, – просто пришла в школу и стала хорошо учиться. В то время легко было учиться – программа была легче. Занималась активно общественной работой. Мы соревновались с одной девочкой. У нее была спортивная группировка, у меня – театральная. Мы ставили спектакли, а они бегали. Спектакли были сильные. Я написала сценарий «Гамлета-78», что-то вроде «Айболита-66». Себе, естественно, отдала роль Гамлета. Все прошло с успехом. Потом нас с этой девочкой рекомендовали в комсомол…»

«Олимпия»

60-е годы оказались щедры к нам. Столько всего интересного и важного произошло! Недоразумения, конечно, бывали, как истории с худсоветами. Но бывали и моменты, можно сказать, поворотные. Одним из таких судьбоносных моментов стало знакомство с Брюно Кокатриксом.

Это имя в истории французской песни – настоящая глыба. Есть такие люди, которые замыкают на себе целые эпохи. Кокатрикс был из их числа. Для французов его имя означало праздник. Композитор, импресарио, он обладал сумасшедшим чутьем на успешные проекты. Одно время под его руководством был концертный зал «Бобино», а чуть позже он возродил концертный зал «Олимпия». На её сцену он впервые вывел таких впоследствии знаменитых певцов, как Шарль Азнавур, Эдит Пиаф, Жильбер Беко, Далида, Ив Монтан… Он открыл их миру, прославив таким образом и их, и свое детище «Олимпию». Выступать в этих стенах означало – быть признанным. Кроме прочего, Кокатрикс сам сочинял музыку для оперетт и до самой смерти оставался мэром города Кабур. Был очень уважаемый человек.

Он же первый, кто привез в Париж советскую эстраду. Был такой Соул Юрок, он в Америку приглашал фольклорные ансамбли песни и пляски, Омский народный хор, хор Пятницкого, а в Париже эстрады как таковой не было, и вот Брюно Кокатрикс осмелился пригласить сначала Московский мюзик-холл, потом Ленинградский – это оказалось в новинку для французского зрителя, но интерес возник. Именно Кокатрикс показал, что в Советском Союзе есть эстрада.

И вот в 64-м году я выступала в Москве, в Театре эстрады. Выходила во втором отделении программы «Миров и Новицкий», одна, без «Дружбы». Мы тогда жили в Москве целый месяц, я приехала почти с 4-летней Илонкой, сняла номер в гостинице «Ленинград». И как раз на один из таких концертов пришел Брюно Кокатрикс, он прибыл в Москву по приглашению Госконцерта. Помню тот вечер: на сцене играл ансамбль Вэйца, и Сан Саныч сидел за роялем, а я выступала с тремя или четырьмя песенками. После концерта Кокатрикс пришел за кулисы, мы поговорили, он удивился, что я по-французски говорю. Потом кто-то из Госконцерта сказал мне, что Кокатрикс хочет пригласить меня в «Олимпию», а у меня же было польское гражданство и советского паспорта не было. Поэтому я не могла поехать в Париж сразу, поскольку, будучи гражданкой

иностранного государства, была невыездной. Кокатриксу такие вещи трудно было объяснять, поэтому он находился в неведении относительно происходящего. Вскоре его терпение лопнуло, и он лично заявил Екатерине Алексеевне Фурцевой, что подобное поведение в отношении артистов унижает такую страну, как СССР. Ведь ему все время в обход меня присылали официальные отказы, в них каждый раз сообщались разные причины, по которым я не могу приехать во Францию, – то я больна, то не имею возможности выехать, то еще что-то. В общем, ему это надоело, и он высказал Фурцевой все, что думал.

А я высиживала в очереди, как все, чтобы попасть к ней на прием и разрешить эту непонятную ситуацию. Тогда мне Тамара Александровна Дмитриева сшила белый костюм, к нему еще блузка была цветная, очень красивая. И вот я наконец попадаю к Фурцевой, она смотрит на меня и говорит: «Значит, правда, что вы – самая элегантная артистка». Вот так я сразу получила от нее комплимент. Я ей рассказала, что меня не пускают во Францию из-за моего иностранного гражданства. Она выслушала внимательно. И дело сдвинулось.

Кстати, с Екатериной Алексеевной мы потом еще встречались на Алтае: там проходили Дни культуры, куда съехались лучшие музыкальные коллективы со всего Союза. После выступлений были небольшие посиделки, я оказалась как раз напротив нее, она меня тогда спросила: «Почему ко мне не заходите? Может быть, решили бы ваши проблемы». Но попасть к ней было совсем не просто. Я несколько раз пыталась. Лишь одна попытка увенчалась успехом. Она умела быть душевной, когда хотела, несколько раз помогала нам: дала разрешение на приобретение западногерманской профессиональной аппаратуры, что стало существенной поддержкой для нашего ансамбля. Так что Екатерине Алексеевне я очень благодарна.

И вот в 1965 году по приглашению Кокатрикса я поехала в Париж в составе Московского мюзик-холла, хотя до этого даже не верилось, что вновь попаду во Францию, да еще в Париж и в саму «Олимпию». В Орли нас встречал сам мсье Кокатрикс. У меня было ощущение, что я нравлюсь ему не только как певица. Особенно укрепилась в этой мысли после того, как прямо в аэропорту он поинтересовался: «Какие духи вы больше всего предпочитаете?» Я растерялась. Не знала название иностранных духов, в СССР пользовалась только отечественной продукцией, но неожиданно в памяти всплыло название «Мадам Роша» – самые известные на тот момент духи. Кокатрикс тут же подошел к продавщице парфюмерного магазина здесь же, на территории аэропорта, и купил самый большой флакон, который протянул

мне. Я была поражена его щедростью.

Вообще, мой приезд для французской прессы стал абсолютным потрясением. Я шла по аэропорту, а на газетных развалах лежали самые известные издания с моим изображением на первой полосе и громкими передовицами: «Дочка шахтера северной Франции – звезда «Олимпии»!», «Цветок, взошедший из пепла войны». Уже после выступления заголовки были не менее звучными: «Олимпия» видела много триумфов, но этот был особенным…» А в первые дни, когда я только приехала, журналисты наперегонки интриговали читателей, искали малоизвестные факты в моей биографии, ничем не гнушались ради очередной «сенсации».

На пресс-конференции, что предшествовала выступлению, меня осаждали журналисты. Их совсем не интересовало, как я буду готовиться к концерту, какими будут мои костюмы, что я делаю для поддержания голоса в отменной форме, они задавали дерзкие вопросы, временами очень агрессивные, один из которых был о месте моего рождения. Вопрос прозвучал из глубины зала и был больше похож на обвинение во лжи: «Вы действительно родились во Франции или это пиар, рекламный трюк для публики?!» На что я спокойно ответила: «У меня нет с собой метрики, а то бы могла вам показать». Журналисты предложили мне поехать с ними за четыреста километров в тот шахтерский городок, где я родилась. Мэром города был француз по имени Огюст Галле, ему было уже за восемьдесят лет. Его предупредили, что я еду. Первое, что он сказал при встрече: «Я был коммунистом всю войну. Руководил шахтерами, чтобы поезда, везущие уголь в фашистскую Германию, шли под откос. Мне жилось нелегко. И я не представлял, что доживу до того дня, когда ко мне в мэрию приедет девочка, которая протянет мне руку советско-французской дружбы. Спасибо вам, Эдит!» Он хорошо помнил моих родителей и, как оказалось, лично регистрировал мое рождение в далеком 1937 году. И вручил копию метрики. Выяснилось, я действительно там родилась. Журналисты лапки кверху подняли, а эта метрика и сейчас у меня хранится.

Потом на местном кладбище отыскала могилы своего отца и старшего брата. Что чувствовала я тогда? Гордость? Да, конечно! И все же в палитре настроения была и краска печали. Слишком многое всколыхнуло в душе то нечаянное прикосновение к прошлому…

Оказавшись в городе детства, почувствовала, что там всё чужое, как будто это было не со мной. Мне показалось, что «сосны до неба», «до солнца дома» – этого ничего не было, только шахтёрские домишки, маленькие, двухэтажные, запылённые, и

школа. Мне раньше казалось, что это огромное здание, а это был одноэтажный дом с маленькими классами… Но человек жив, пока жива его память. Моё детство научило меня ничего не забывать, вплоть до последней крошки хлеба, которая иногда была для меня слаще любого пирожного, до этой последней крошки, которой я ждала из руки мамы. Вернувшись в Париж, я долго мучительно перебирала лица, имена, всплывшие в памяти картинки детства. Разбередила меня та поездка…

Встреча с Парижем той поры подарила мне еще одну чудесную историю. Там состоялось мое знакомство с песней, которая позже вошла в мой репертуар и стала одной из самых любимых – «Город детства». Гуляю я однажды по Парижу и вдруг слышу напевную мелодию – то в одном месте, то в другом, – и мотив такой звучный, ласковый, берущий за душу. (В оригинале она называется «Green Fields» – «Зеленые поля»; это обработка шотландской баллады XII века, где рассказывается о двух влюбленных. Впервые ее исполнила американская группа Easy Riders в 1957 году. – *Ред.*)

В Ленинграде я обратилась к поэту Роберту Рождественскому с просьбой написать стихи на тему этой песни, рассказала ему о моем детстве в Нуайель-су-Ланс, он сумел очень точно передать мои ощущения. Для меня всегда было недосказанным мое детство, и я с искренним чувством пою «Город детства», о том городе, в котором я не доиграла свои игры, где у меня не было кукол, где действительно было не так тепло, как, наверное, могло бы быть… «Где-то есть город, тихий, как сон…» Нежные крылья песни не раз возвращали меня сюда, но, видно, и в самом деле невозможно купить билет в страну своего детства. Оказались коротенькими улицы, представлявшиеся бесконечными; стали ниже деревья, упиравшиеся когда-то в самое небо; свежей болью полоснули по сердцу два дорогих холмика на тихом католическом кладбище.

На эти свои первые гастроли в Париж привезла кучу туалетов, сшитых Тамарой Александровной Дмитриевой, – с мехами, жемчугами, так была наслышана, что Париж – законодатель моды, хотелось поразить парижан изысканностью нарядов, благородством облика. В первый же день в Париже ко мне подошла супруга Брюно – Полетт, работавшая в «Олимпии» главным художником: «Простите, но я должна посмотреть, в чем вы намереваетесь выступать». Я гордо извлекла из чемодана платье с юбкой-пачкой и лифом, щедро расшитым стразами. «Это не пойдет».

Увидев второе, отороченное по подолу, вороту и рукавам

песцом, мадам Кокатрикс едва сдержалась, чтобы не замахать руками: «Нет, нет и нет!» – «Эти два – самые лучшие». – «А какой из ваших нарядов самый скромный?» Я достала простенькое белое платье с воротничком, расшитым искусственным жемчугом. «То, что нужно! – воскликнула Полетт. – Поймите, дорогая, в «Олимпию» приходит богатая публика, которую и бриллиантами не удивить, – не то что стразами. Она хочет слушать пение, а не лицезреть вычурное платье. Смотреть на наряды идут бедные люди – они, как правило, мало понимают в музыке». Навсегда запомнила слова этой мудрой женщины: «Наша публика не любит, когда с ней соревнуются в пышности. Ваше главное богатство – песня. Ею и блистайте…»

Перед первым выступлением я трусила страшно. Брюно, увидев, как я нервничаю, сказал: «Пойди, выпей коньяку». – «Что вы, я же слова забуду!» – «Нет, ты ничего не забудешь, ты – артистка». И я успешно спела свой первый концерт, после концерта ко мне подошла Полетт и сказала много теплых слов.

В 1965 году я выступала в составе Московского мюзик-холла и завершала первое отделение, второе закрывал Сличенко, имевший бешеный успех, публика просто сходила по нему с ума. Очень было приятно на следующий день прочитать о себе в одной из парижских газет: «Она поначалу казалась похожей на Далиду, потом на Жюльетт Греко, потом показалось, что у неё есть что-то от Эдит Пиаф, нет. Нет, это была Эдита Пьеха, она достойно отстояла свое имя в «-Олимпии».

Сравнение со столь значительными французскими исполнительницами было для меня очень радостным. Я никогда никому не подражала, но то, что парижская пресса усмотрела сходство с ними, говорило о том, что я смогла задеть их по-доброму, что у меня получилось…

На концерте в «Олимпии» была не столько парижская публика, сколько туристы, хотя французы там тоже присутствовали. Исполняла я тогда три песни. Одна из них была «Метелица» – русская народная песня, но в эстрадной аранжировке. По-французски пела «Те, из Варшавы» – красивая очень песня, почти гимн, она стала победительницей на Сопотском фестивале, – песня о том, что все мы разные, из разных городов – из Варшавы, из Ливерпуля, из Москвы, из Ленинграда, но в наших жилах течет одинаковая кровь, мы все просто люди. Третью песню, увы, не помню…

У французов была интересная традиция: вот, я выступила, закрывается занавес, аплодисменты, я стою за занавесом, тут же появляются люди, что-то вроде помощников режиссера, и

выталкивают меня к зрителю, я кланяюсь, возвращаюсь за кулисы, опять аплодисменты, опять меня выталкивают… успех измеряется количеством выходов «за занавес». Иногда даже во время «бисирования» я исполняла еще какую-нибудь песню, это считается во Франции признаком успеха у публики, мне везло, я по несколько раз выходила петь.

Наши гастроли продолжались целый месяц. Выходными были только понедельники, мы гуляли по распродажам, хотя особо не разгуляешься: посольство оставляло нам от гонораров лишь 50 франков. И в течение всего этого месяца Кокатрикс с супругой заботились обо мне, иногда давали корректные наставления, подсказывали что-нибудь.

Но, даже находясь в Париже, я чувствовала на себе пристальный взгляд советской системы, которая не упускала нас из виду даже за пределами СССР. Параллельно с выступлением Московского мюзик-холла в «Олимпии» на одной из открытых площадок выступали «Битлз». Я обратилась к Кокатриксу: «Хотелось бы попасть на «Битлз», вы мне поможете?» – «Конечно, конечно», – ответил он. Но так было заведено в то время, что советским артистам во время поездок за границу нельзя было нигде ходить без сопровождающих и каждый свой шаг надо было согласовывать. Поэтому за разрешением сходить на концерт «Битлз» я обратилась к директору Московского мюзик-холла Надежде Аполлинаровне Казанцевой: «Мне можно сходить на «Битлз», господин Кокатрикс обещал билет?» И услышала в ответ: «Вы что, сошли с ума?! Вы позорите…» И далее последовала долгая тирада про то, что мой моральный облик не соответствует облику советского гражданина. Самое смешное, что она даже не знала, кто такие «Битлз», но быстро мне растолковала, что подобное зрелище не для советской женщины. Так я и не попала на «Битлз», но позже услышала их записи уже благодаря внуку.

Еще во время пребывания в Париже запомнилась история с колготками. В то время в СССР не было колготок, были специальные пояса-резинки, к которым прицеплялись чулки. А я чулки не очень любила, поэтому придумала хитрость: перед выходом на сцену смазывала ноги кремом, чтобы блестели, как будто я в чулочках, и никак не могла предположить, что это может вызвать какое-то недоумение у жены Кокатрикса. И вот после просмотра программы она меня попросила зайти к ней. Я захожу, а она говорит: «Давайте мы вам купим колготки». А я ей: «Зачем? У меня ноги и так красивые!» – «Нет, на сцене свои законы, да и вообще парижанки всегда ходят в чулках». И в тот же

день она купила несколько пар роскошных колготок и преподнесла их мне в подарок. И потом я узнала, что даже в большую жару парижанки ходят по улице в чулках, а я на сцену «Олимпии» вышла без них! Благодаря жене Кокатрикса я запомнила, что это преступление выходить на сцену с голыми ногами, как я делала. Задор юношеский – ну что, подумаешь, загорелые ноги, сойдет! Так что я после «Олимпии» стала всегда выходить на сцену в чулках, а потом уже в колготках.

Тогда же произошел еще один курьезный случай. Я впервые попала на банкет в советском посольстве в Париже. Слева огромное количество приборов, справа столько же. Растерялась. А дипломат, сидевший рядом, тихо мне сказал: «Начинайте брать приборы с края, все совпадает с меню».

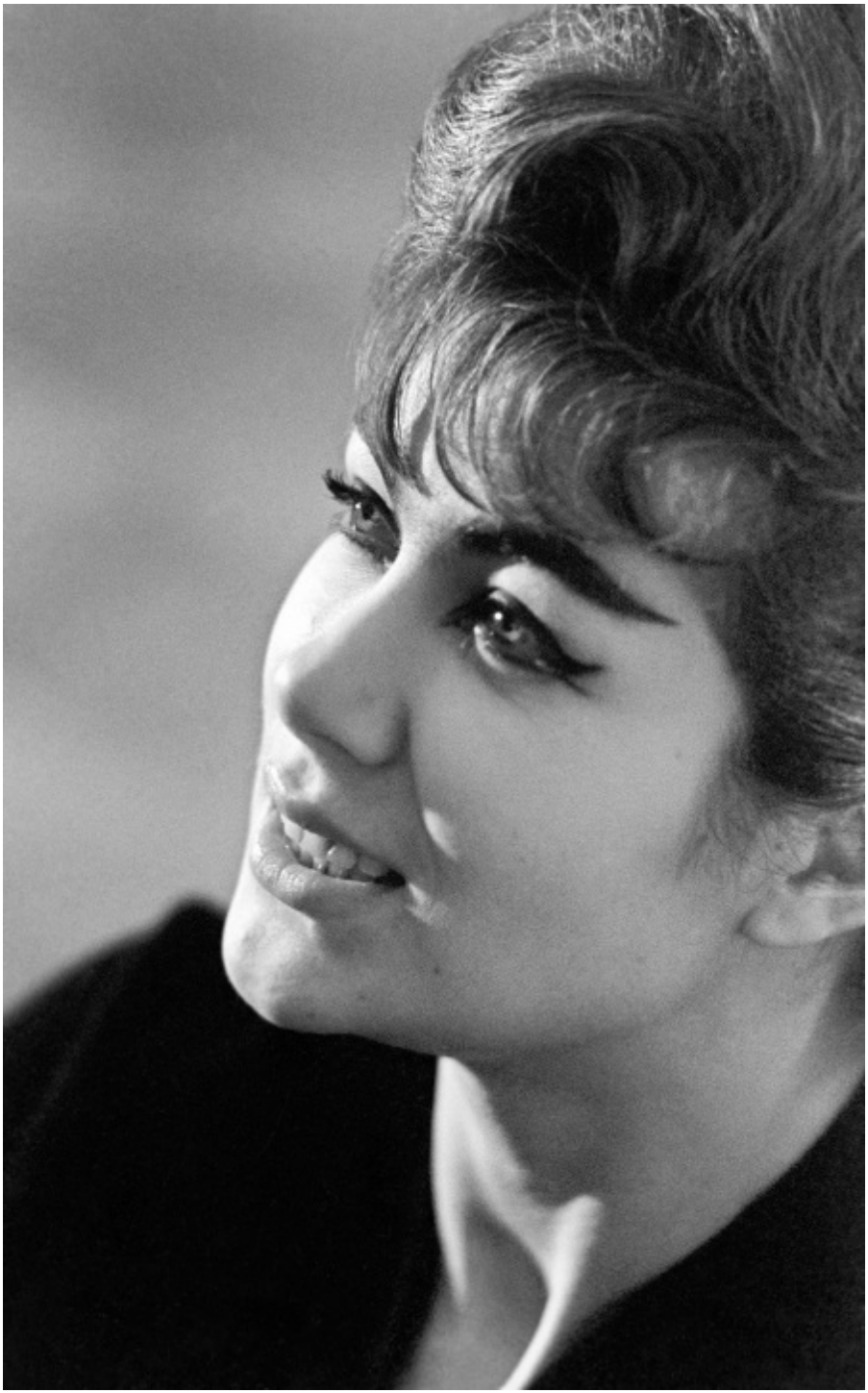
На другом банкете, устроенном в мою честь, мне преподнесли большое блюдо белых «колбасок». За столом было всего пять человек, а я смотрю на блюдо и думаю: что с ним делать? Никогда в жизни я не видела такого кушанья, к тому же сидела без очков. И не разглядела, что это салфетки на серебряном блюде. Вдруг мне говорят: освежите руки. И я благодарно выдыхаю: спасибо! Как будто меня приговорили к смертной казни и помиловали. Взяла салфетку, небрежно встряхнула и сделала вид, будто каждый день совершаю эту процедуру. Меня все время бросали, как котенка в море. Я плавать не умела, но быстро училась уже в воде, лишь бы не уронить достоинство, которым всегда дорожила. На банкете не стала бы есть вообще, прикинулась бы, что не голодна, только бы не опозориться. Но до сих пор запомнила слова Брюно Кокатрикса – он был президентом общества гурманов Парижа: «Умение получать удовольствие от вкусной еды – тоже признак высокой духовности, потому что человек, который неравнодушен к хорошо приготовленной пище, это человек с утонченным восприятием жизни…»

В 1969 году состоялась моя вторая поездка в Париж, и опять я выступала на сцене «Олимпии», на этот раз вместе с Ленинградским мюзик-холлом, вела на французском языке весь концерт, были в программе и мои сольные номера. Именно тогда пришло понимание, что я могу выступать и без «Дружбы». Но до серьезных перемен было еще далеко.

Во второй мой приезд в Париж я узнала, что даже на французской земле нахожусь под неусыпным наблюдением СССР. Тогда я уже выступала «звездой» концерта и, зная, как хорошо Кокатрикс ко мне относится, подошла и говорю: «Вы не могли бы мне занять денег? Вы часто приезжаете в Советский Союз. Я бы у

вас сейчас заняла, а в Москве отдала бы в рублях». Мне очень хотелось купить гриль, а стоил он, прямо скажем, недешево. Он долго смотрел на меня, онемев, наконец сказал: «А куда вы их деваете? Мы же платим вам 2000 франков». Так случайно все и выяснилось: наши гонорары уходили в посольство, которое потом выдавало деньги только на самое необходимое, в виде суточных. Узнав это, Кокатрикс сначала кричал на весь кабинет, а потом нажал кнопку, вызвал свою помощницу и сказал: «Вы должны покупать Эдит все, что она попросит».

В итоге, когда мы уезжали из Парижа, в аэропорту подходит ко мне таможенник и говорит: «С вами идет груз». Я отвечаю: «Какой груз? Не понимаю…» И слышу: «Гриль…» Вот так Кокатрикс решил меня порадовать.



Наше сотрудничество с Кокатриксом было очень хорошим, после моего второго приезда в «Олимпию» мы задумали мой

сольный концерт. Даже запланировали его на 1970 год. Началась подготовка, подбирался репертуар, намерение Кокатрикса «открыть меня для Европы» было несомненным, но судьба решила по-своему: когда я собиралась вылетать в Париж, мне сообщили, что он умер. Тогда для меня это было почти трагедией, сейчас я даже благодарна судьбе, что этим концертам не суждено было состояться, потому что я могла провалиться с такой программой: наши песни там не известны. Как же он собирался меня раскручивать? Какой же он смелый был человек!

Париж, 2007 год.
Съемки фильма Первого канала.

Мои выступления в «Олимпии» запомнились теплом и добрым отношением парижской публики. Единственное, о чем жалею до сих пор, – мне даже в голову не пришло записать концерт на пленку, привезти в Советский Союз и показывать, чтобы все поняли, какой был успех! И у Броневицкого не возникло такой идеи, а между тем зарубежные газеты писали, что его музыка, его детище – «Дружба» – это новая страница

советской эстрады, окно в эстраду Европы…

Наши выступления с Московским и Ленинградским мюзик-холлом остались в аудиозаписи. В «Олимпии» тогда была студия звукозаписи, на которой записывались концерты, потом продавались пластинки. Так вот появилась пластинка «Звезды Московского мюзик-холла в «Олимпии» и такая же с Ленинградским мюзик-холлом, а вот видеозаписей, к сожалению, не было.

И, наконец, в начале 1970 года нас с Муслимом Магомаевым пригласили на вручение премии в рамках IV Международной музыкальной ярмарки MIDEM-70 в Каннах. Эту премию «Нефритовый диск» мы получили за рекордные миллионные тиражи грампластинок фирмы «Мелодия». Увы, нашу награду – «нефритовый диск» – забрала себе фирма «Мелодия», и дальнейшая его судьба мне не известна – может, разрезали на сувениры. У меня же осталась только его фотография.

В эту же поездку произошел забавный случай, который очень хорошо характеризовал Броневицкого. Получилось так, что его вместе с нами во Францию не пустили. ОВИР не выдал разрешение и визу. Поэтому в Канны мы отправились вместе с Магомаевым. Прилетаем. Проходит день-два. И вот однажды вечером возвращаюсь в гостиницу усталая, ложусь спать и засыпаю, но просыпаюсь от странного ощущения, что надо мной кто-то стоит. В первый момент дико испугалась. Включаю свет и вижу над собой Сан Саныча, который нависает надо мной и тяжело дышит. Увидев, что я открыла глаза, он зарычал: «Где Магомаев, куда ты его спрятала?» И начинает бегать по номеру и везде заглядывать – в шкафы, под кровать. А я вспоминаю, что, придя в номер, закрыла его изнутри, спрашиваю: «Как ты попал в номер?» Он не отвечает, я смотрю на открытое окно и понимаю, что мой муж залез ко мне через него. С одной стороны, я была потрясена его отвагой – это напомнило мне старинные романы, в которых влюбленный герой, рискуя жизнью, влезает к возлюбленной в окно, но, с другой стороны, беспочвенная ревность Броневицкого начинала меня утомлять. Ему все время казалось, что я ему с кем-нибудь изменяю. Особенно с Магомаевым. Он ведь был такой красавец, любимец женщин, его обаяние было безграничным. Вот мой муж и решил, что если все женщины от Магомаева без ума, то и я не исключение. С огромным трудом мне удалось убедить его, что Магомаев спокойно спит в своем номере и что у нас нет интрижки. Позже выяснилось, что Сан Санычу удалось выбить визу и он прилетел через пару дней, заселился в номер рядом с моим и следил за мной. Вот до чего его доводила ревность!

Кстати, вся эта история не помешала ему на следующий день как ни в чем не бывало вместе со мной в компании Магомаева и его брата Кемала, жившего во Франции, отправиться в знаменитое казино Монте-Карло. Каждый купил по десять фишек, все сели за стол, но удача была не на их стороне, очень быстро на столе осталась всего одна фишка – Магомаева, ее-то он, не задумываясь, отдал мне со словами: «Ты – женщина, тебе должно повезти». И точно: я выиграла. После этого Муслим долго сокрушался: «Надо было тебе сразу отдать все фишки, может, мы были бы богачами».

Муки любви

В промежутках между многочисленными гастролями я выкраивала время, чтобы приехать к маме. Поверьте, каждый раз это давалось все с большим трудом. Получалось, что легче было мне приехать к маме, чем ей ко мне. Отправились к ней мы вдвоем: я и Илонка. Ей тогда только исполнилось четыре года. Для нее это были первые заграничные каникулы.

Был долгий переезд, поезда «Петербург – Варшава», «Варшава – Вроцлав», потом нужно было еще ехать на такси, мы очень устали. Мама, увидев нас, обрадовалась, свою внучку она видела впервые, спрашивала все, как идет наша семейная жизнь с Броневицким, а что я могла рассказать?

Нужно ли было говорить маме, что Сан Саныч просто не умел быть заботливым, что заботой меня окружили его родители, которых до сих пор вспоминаю с огромной благодарностью, и его брат Женя часто приезжал ко мне на улицу Ленина, когда я была беременна Илонкой, чтобы «выгулять» меня, – у Броневицкого на это времени не хватало. Во время прогулок мы много разговаривали, что-то рассказывали друг о друге, делились сугубо личными мыслями. Так началась наша дружба, точнее, она началась еще раньше, когда мы недолгое время жили все вместе на Греческом проспекте в коммуналке, теперь она продолжилась и укрепилась. Женя очень хороший человек, но его жизнь сложилась драматично. Некоторое время после смерти Александра Семеновича он жил с мамой, женой и дочерью. А потом у Эрики Карловны начался «альцгеймер», и я её устроила в очень хорошую клинику. Даже несмотря на болезнь, она дожила до 90 с лишним лет, мы постоянно приезжали к ней, а она чаще всего спрашивала: «Кто вы?» В итоге ушла и она. Я позаботилась о том, чтобы они с Александром Семеновичем лежали рядом. Каждую годовщину Вера, моя помощница, возит от меня цветы на их могилу. Сама я не могу – слишком много было потерь в жизни. Тяжело. Потом умерла жена Жени, я предложила ему жить с нами, но он сказал: «Нет». Грустная это история.

Постепенно, с годами, наша совместная жизнь с Александром Александровичем превращалась в пресловутый стакан, в который каждый день стекает по капле, и все мы прекрасно понимали, что рано или поздно этот стакан переполнится. У нас бывали серьезные разногласия, не делаю из этого секрета. Как яркая личность со своим художественным почерком и в то же время властным характером, он при нашей совместной работе оказывал на меня давление, не хотел считаться с моей индивидуальностью

и моим вкусом, личными устремлениями и интересами. Считал, что я, как ученица, должна беспрекословно слушаться его и во всем подчиняться. Поначалу он действительно был для меня непререкаемым авторитетом, но в конце концов природа взяла своё. Я ведь по гороскопу Лев, а ему, как известно, покорность и слабость несвойственны. Постепенно мое творческое и человеческое «я» стало проявляться всё отчетливей и, возобладав, уже не могло подлаживаться и требовало свободы.

От редактора:

Время обладает свойством искажать события и воспоминания о них. Человеческая память – вещь непрочная, хотя подчас способна творить чудеса. По мнению близких людей Эдиты Станиславовны, ее союз с Александром Броневицким был удивительным. Мы ни в коем случае не стремимся опровергнуть или подтвердить слова нашей героини, просто иногда, чем ближе мы находимся к человеку или факту, тем субъективнее нам кажется картинка. И наоборот, перед людьми, стоящими на расстоянии, прошлое раскрывается с неожиданной стороны.

Илона Броневицкая

«*….Я всегда знала или даже, скорее, не знала, чувствовала, что папа очень любит маму, это было видно. И хотя мама часто жаловалась на то, что папа её ревнует, все равно – по тому, как он себя вел, было понятно – между ними большая любовь. Несколько раз я, Женя Броневицкий, брат папы, видели, как они стояли, обнявшись, как он на нее смотрел, особенно когда они дома вечерами разучивали новые песни. Он так много для нее делал! Достаточно было посмотреть, как он выстраивал все, что происходило на сцене, как специально набирал коллектив красивых мужиков. Как говорил папа: «швейцарская гвардия должна быть». Да если бы он был таким ревнивым, он этого бы не делал. И они обыгрывали её выступление, как выход королевы, мама ведь не могла быть окружена горбоносыми и кривоногими карликами. Она была в обрамлении красивых мужчин, и это было сделано сознательно, чтобы подчеркнуть её красоту. Папа сочинял песни для нее, придумывал, как её подать. Как-то раз он прибежал и говорит: «Слушай, я придумал: вот так мы прожектор кладем на пол, и светится по полу такая дорожка, и по этой световой лунной дорожке выходит она». То есть он всегда думал, как её подать, как подчеркнуть её необычность, её королевскую сущность. И если вспомнить фразу о том, что «короля играет не король, а его свита», папа всегда ей следовал. Поэтому я не знаю, какой он там был сильный ревнивец, но он её любил. Я, честно говоря, ничего*

другого и не чувствовала, кроме того, что папа очень любит маму, что все любят меня и что помимо этого есть еще любящие нас бабушка и дедушка – какая я счастливая, как много людей меня любит!

А потом я уже дошла своим умом, как у родителей все было. И знаете, что я вам скажу? Я начала понимать папу: иметь такую красивую жену – это бремя. Как говорила одна провинциальная старушка: «Красивая жена – чужая жена». То же можно сказать о красивом муже. Эдиту вожделела вся мужская часть нашей страны, ну, если не вся, то бо€льшая. И каково было папе?! Тогда мама очень тяжело переносила ревность отца, но если бы между ними все было плохо, она бы сегодня не говорила: «Я жалею, что мы расстались…» Помню, Женя Броневицкий, брат папы, говорил: «В какие-то моменты я видел, как они стояли, просто обнявшись, и было понятно, что они по-настоящему любят друг друга…» Думаю, так оно и было…»

Да, ревность была самым страшным недостатком Броневицкого, по сути, она и сгубила наш брак. Ревность, которая не знала границ и которая мешала мне жить. Есть такая порода мужчин – они считают, что вот это только мое, и никто не должен на это посягать. Он устраивал сцену ревности, даже если кто-то просто посмотрел на меня. Бывало так: с кем-то я посижу, выпью кофе в кафе, или кто-то, предположим, помог мне донести мои покупки из магазина в гостиницу – все, сразу следовал серьезный разговор на тему того, что я ему изменяю. Это было ужасно. Он патологически не переносил, если рядом со мной оказывались интересные мужчины. А мне тогда было мало лет, я хотела просто нравиться.

Одно время даже возникла ситуация, когда мне пришлось ревновать, но это больше относилось к профессиональной сфере. Броневицкий захотел взять в ансамбль ещё солисток, в какой-то момент в «Дружбе» появилась кубинка, но я нашла способ «выжить» её. В конце концов мне удалось убедить его не делать этого, уверяя, что ансамбль сразу потеряет свою индивидуальность. И, наверное, я была права.

На самом деле ревность – пустая трата времени и нервов. Потому что, если кто-то хочет изменять, он все равно будет это делать, ревнуешь ты его или нет. Как ни порти себе нервы, как ни следи или ни проверяй, все равно это будет. Это как стихия, уже заложено в человеке, и тратить время на то, чтобы ревновать, глупо. Совместная жизнь основана на доверии. Никогда не надо обманывать друг друга. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. И не надо повышать друг на друга голос – это очень важно.

Довольно быстро я очень устала от его ревности, а Шура не менялся, думал, что я веду себя так же, как и он. Его подозрения очень огорчали меня. Я об изменах и не думала, отвергала всех ухажеров, которых, поверьте, было немало, а вот о своих приключениях он сам все рассказывал. Мне пришлось научиться владеть собой, несмотря на слабую нервную систему, я стала развивать волю и сумела воспитать в себе абсолютное равнодушие к таким вещам. Просто сказала себе: «Работа – это главное!» Так и превратился наш брак в служебный роман.

Последние три года мы прожили с ним в довольно прохладных отношениях. Приезжая на гастроли в другие города, жили в гостинице в разных номерах. Я устала слышать бесконечные «надо, надо, надо». Была слишком занята, чтобы думать о том, что происходит между мной и мужем. Я только понимала, что все это слишком далеко от моего представления о семье.

Его поклонницы ругали меня по телефону на чем свет стоит и писали на лестнице всякие гадости – оно и понятно, ведь они были фанатично в него влюблены. Вначале я переживала, потом поняла, что ничего сделать нельзя. Научилась не подходить к телефону или молчать, когда брала трубку. Довольно быстро уяснила, что если хоть раз отвечу на их языке, то уподоблюсь им. Поэтому делала вид, что не понимаю, о чем говорят.

Однажды мне позвонила одна поклонница и сказала: «Эдита Станиславовна, машина Сан Саныча стоит вот по этому адресу, и не первый день – он у такой-то». А я: «Ну и пусть!» Положила трубку. И вдруг звонит Сан Саныч, будто что-то почувствовал, говорит: «Я тут отдыхаю за городом, хорошо провел время и сейчас возвращаюсь!» И тогда единственный раз в жизни я позволила себе иронию: «Тем более что с Баскова переулка ехать недалеко!»…

Просто после какого-то момента я поняла, что плакать бесполезно и что для меня моя любовь к нему должна перерасти в большее – в любовь к тому, что я делаю на сцене и чему он меня учит. Никогда его не проверяла, никогда не следила, а у него было такое высказывание: «Если я тебе изменяю, то это не измена, а чисто плотская разрядка, похоть».

К тому же я всегда была очень чувствительной: многое предчувствовала. Мне, может быть, не хватало эрудиции, знаний, но каким-то непонятным образом я все вычисляла: куда идти, с кем быть… Я всегда жила чувствами. Сан Саныч Броневицкий называл меня за это «черепьехой» – так долго я все переживала. Зачастую чувства меня просто захлестывали.

Но до «эмоционального взрыва» было еще далеко. Броневицкий умело пестовал «Дружбу», находил все новые и новые возможности для нас укрепиться в статусе звездного коллектива, а для этого надо было не только выдерживать суровый гастрольный график, но и принимать участие в различных международных смотрах. Одним из таких важных смотров стал IX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Софии 1968 года.

София-68

На Международный фестиваль в Софии поначалу мы приехали как гости, у меня было по два-три концерта на разных площадках, но неожиданно заболела певица, которая должна была представлять нашу страну. Я сильно волновалась, а надо было выйти на главное выступление. Броневицкий уговорил организаторов фестиваля не говорить мне, что мое выступление – конкурсное. Мне придумали легенду, будто это отборочный тур или что-то вроде того. Произошло это так: раннее утро, будит меня Лидия Шевелева (она была одним из организаторов фестиваля): «Дита, вставай скорее, у нас серьезное выступление…», я ответила: «Рано слишком…» Она мне быстро приготовила кофе, мы пошли якобы на концерт, а это был конкурс. Стали петь две песни «Огромное небо» и «Венок Дуная» Оскара Фельцмана. Спела. Сердце все равно замирает. После этого на сцену поднялся мужчина и сказал: «Я мсье Понижель, председатель жюри конкурса, вы победили. – И добавил: Своими песнями вы заставили нас встать». Произошло это в день моего рождения – 31 июля.

Песня «Огромное небо» упала на меня, как звезда, и я ее крепко-накрепко схватила. Она была написана по «горячим следам» события, которое произошло 6 апреля 1966 года в Группе советских войск в Германии. Тогда у истребителя, которым управляли капитан Борис Капустин и старший лейтенант Юрий Янов, внезапно заглохли оба двигателя, и самолет должен был упасть на один из густонаселенных районов Берлина. Однако советские летчики сумели увести самолет за черту города, и он упал в озеро, за городом. Оба летчика погибли. Об этом событии была напечатана небольшая заметка в газете. Поэт Роберт Рождественский, практически ровесник лётчиков, написал стихотворение и обратился к Оскару Фельцману с просьбой положить его на музыку.

Я уже говорила выше, что мы с Шурой дружили с Оскаром Фельцманом, часто бывали в гостях у него. И вот приходим однажды, Оскар Борисович говорит Шуре: «Я такую песню сочинил…» – и начинает играть: «Об этом, товарищ, не вспомнить нельзя…» – как вальсочек. А я слушаю и вдруг говорю: «Стоп, это же целая история, так нельзя играть… Это ведь баллада, воспоминание». – «А как ты хочешь?» – спрашивает Фельцман. Решили мы с Сан Санычем, что будем делать другую аранжировку. Песня шла трудно. Сан Саныч ходил и очень долго не знал, какую аранжировку сделать. Решение родилось у меня в

сердце, я увидела, как все должно быть в реальных событиях. Это была не режиссура, я просто «нарисовала» Сан Санычу, как это было: они жили, летали, дружили. Вначале радость, про летчиков: «Об этом, товарищ, не вспомнить нельзя, в одной эскадрилье служили друзья…» Это речитатив. Потом мужской вокализ – это Броневицкий придумал.

И дальше пошло: «Летали, дружили в небесной дали, рукою до звезд дотянуться могли…» Тут идет нагнетание, и ансамбль поддерживает: «Стрела самолета рванулась с небес, и вздрогнул от взрыва березовый лес…» И я кричу, и ансамбль кричит! И свет, и звук! И… пауза, драматическая пауза… Огромная!

Я сказала: «Они взорвались, Шура! Они взорвались! Все! И сейчас надо показать, как будут их хоронить… Как это сделать в музыке?!» Он сказал: «Все, знаю-знаю! Здорово! Так и будет! У нас еще реквием будет в конце под одну бас-гитару: «В могиле лежат посреди тишины…» И там в конце протест: «Огромное небо, огромное небо…»

В общем, все получилось как мини-спектакль.

Трактовка этой песни была очень реальной. Мне даже писали письма: «Неужели вы побывали в авиационной катастрофе?» Нет, я просто себе представила все это… Я так это увидела, услышала, мне показалось, что я была с ними вместе, а иначе нельзя. Каждую песню я пою от своего лица.

Мне еще помогло то, что в свое время я привезла из Польши пластинки польского дирижера и композитора Кшиштофа Пендерецкого, на одной из них была очень экспансивная музыка. Можно сказать, что это навеяло правильные музыкальные решения для нашей песни. Но самое важное, что определило драматургию «Огромного неба», – это его собственная история, на которой она была основана. Сан Санычу оставалось лишь всю эту драматургию изобразить в музыке.

Фельцману очень понравилось, он сказал: «Я не думал, что может получиться настоящая баллада». Вот так совместными силами родилась эта песня. Она была отмечена на IX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Софии сразу несколькими наградами: первым местом на конкурсе политической песни, тремя золотыми медалями за стихи, музыку и исполнение.

То, что в основе этой песни реальная история, – очень важно для меня, это означает, что многие мои песни рождены жизнью. «Огромное небо» – одна из них. Помню, как один из музыкальных критиков написал: «Самое мужское исполнение песни Фельцмана на стихи Рождественского «Огромное небо» – это исполнение Пьехи». Я бы сказала – не мужское, а человеческое. Вот уже более сорока лет эта замечательная песня в моем репертуаре.

Фестиваль в Софии стал для меня судьбоносным. Дело в том, что до него я с удовольствием пела песни, которые лучше всего характеризовали их названия: «Хорошо!», «Это здорово!», «Манжерок» и т. д. Они были полны упоения жизнью и утверждения, что все в ней только прекрасно и удивительно… Шло время, рождались новые песни, появлялись новые исполнители; и я повзрослела, и вместе с жизненным опытом пришла ко мне потребность думать и говорить о серьезных вещах серьезно. И именно на фестивале в Софии я включила в репертуар гражданские песни – «Огромное небо», «Никогда не бывать смертям», «Следующий». В них был целый мир, сама жизнь, о которой мне хотелось рассказать слушателям. В песне «Следующий» рассказывается, как, расстреливая шахтеров-заложников, фашисты кричали: «Следующий, следующий…» Это происходило на севере Франции, когда я была еще ребенком. Слова «Следующий, следующий…» и по сей день звучат в ушах. За эту песню была удостоена особой премии Комитета антифашистской песни.

Тогда, на фестивале в Софии, я впервые поняла, что могу что-то сказать своей песней собравшимся. Опыт показал, что на фестиваль приезжают не только те, кто последовательно отстаивает идеи мира и дружбы. И вот в Дом дружбы пришла группа молодежи, довольно шумно и демонстративно противопоставлявшая свои взгляды идеям фестиваля. Атмосфера была достаточно накаленной, когда организаторы мне сказали: «Эдита, спойте им что-нибудь серьезное!» И я стала петь, глядя им в глаза: «Никогда хлебам не гореть, миру – мир, смерти – смерть!» Единственным моим желанием было заставить их задуматься над тем, что я пою. Может быть, наивно, но я верила, что сумею говорить с ними на языке песни. И до сих пор помню чувство удовлетворения, когда в зале наступила тишина, – та заинтересованная тишина, когда артист чувствует, когда его понимают.

Сегодняшняя молодежь, наверное, и не слышала о проходящих когда-то Всемирных фестивалях подобного рода, что ж… А я часто вспоминаю тот давний концерт в Доме дружбы в Софии и счастлива, что своими песнями участвовала в борьбе за благородные идеи фестиваля. Вот почему я считаю Всемирные фестивали молодежи и студентов частью своей биографии. И горжусь этим, как и редкой наградой, врученной мне директором парижской «Олимпии», – орденом «За укрепление искусством дружбы между народами». Это мой маленький вклад в ту большую борьбу, которую вели и ведут честные люди всех

стран, – борьбу за мир и счастье.

Любопытно, что, когда я ехала на фестиваль, чиновники говорили: «Она же иностранка», но когда я вернулась с «золотым набором», ко мне резко изменилось отношение. Через год после после возвращения из Софии мне дали звание «Заслуженная артистка РСФСР».

Вот так и получалось, что моя жизнь протекала как бурное русло реки: страны, города, люди, концерты, преодоления, огорчения. А еще рядом со мной был мой муж, моя дочь, в Польше жила мама. И я понимала: что бы ни случилось, эти люди поддержат меня. Сегодня, вспоминая то время, я жалею, что не всегда прислушивалась к тому, что мне говорил Сан Саныч. К концу 60-х годов во мне уже сложилось понимание своего предназначения. Я знала, что преподавателем мне не стать, что моя стезя определилась раз и навсегда. Именно на сцене я могу реализовать все, что дала мне природа, – нет, я никогда не заносилась, не изображала из себя «звезду». Мое окружение, с которым несказанно повезло, – мудрые люди, композиторы, друзья Броневицкого, его родители, брат Женя, – все они помогали мне не терять форму, умело балансировать между чувством собственного достоинства и осознанием своей женской природы. Тогда я не всегда осознавала, что его любовь ко мне выражалась через сцену: он все делал для того, чтобы я выглядела королевой, например, набрал в ансамбль красивых рослых ребят. Как сказал один из наших знакомых, увидев меня на одном из выступлений: «Однако, Эдита, какая у вас красивая свита». Именно этого добивался Броневицкий – чтобы каждый мой выход на сцену был праздником. Это было смыслом его жизни. Но тогда я не всегда это понимала, о чем жалею невероятно. Шура невероятно радовался моим успехам, но не всегда это показывал. Ему все время думалось, что я могу сделать больше, а он должен мне помочь в этом.

Поэтому, когда я добивалась зримого успеха, как в случае с золотой персональной медалью фестиваля в Софии, для него это было большим счастьем. Но иногда меня обижало то, что подобные ситуации он записывал не лично на мой счет, а на счет ансамбля «Дружба». Для него я была солисткой ансамбля, а меня это стало обижать. Мне не хотелось быть приложением к чему-то или кому-то. Я никогда не лепила из себя «звезду» по имени Эдита Пьеха, долгое время оставалась при Броневицком и его ансамбле, но с каждым разом чувствовала все острее, что публика ждала от меня чего-то нового, большего. В конце концов мне удалось убедить в этом Броневицкого, и концерты стали делиться на два отделения, одно из них полностью было отдано мне, но я чувствовала, что ему это не нравится.

И все равно я была благодарна ему за очень многое. В том числе за постоянную возможность ездить по миру, видеть другие страны, выступать перед самыми разными людьми, находя каждый раз подтверждение тому, что песня, если она написана от чистого сердца, не знает преград. Даже если ты поешь её на родном языке где-нибудь на острове в Атлантическом океане, ты все равно видишь, какое впечатление оказывает на других красивая мелодия. Но мне всегда хотелось, чтобы зрителям, пришедшим на наши выступления, была доступна не только

мелодия, но и слова. Поэтому очень часто, приезжая на гастроли за границу, старалась хотя бы несколько песен спеть на языке этой страны. Хороший музыкальный слух от рождения помогал мне в изучении иностранных языков. В моем житейском багаже были французский, польский, немецкий языки и к тому времени вполне приличный русский.

Куба, красавица Куба…

В 1970 году состоялось мое первое знакомство с кубинскими зрителями. Произошло это на фестивале «Варадеро Сиденте-70», где я представляла Советский Союз. Конечно, очень волновалась, и каково было моё изумление, когда во время выступления вдруг неожиданно весь зал – пятнадцатитысячная аудитория! – подхватил и стал напевать вместе со мной мотив песни. Это была незамысловатая, написанная в танцевальном ритме песня «Наш сосед». Она-то и стала моей «визитной карточкой». На следующий день ко мне подбегали на улице, приглашали в гости. Помню, эту песню потом ещё несколько лет пели на испанском языке различные кубинские ансамбли.

Потом с «Соседом» получилась забавная история. Мы жили в отеле «Hilton». Спускаюсь в сауну, а там девочки сидят, кубинки, и громко так от души поют «Наш сосед». Видят меня, говорят: «Хочешь, мы тебя научим петь эту песню? Её поет великолепная советская певица Эдита…» И меня стали учить петь эту песню. Можно сказать, что благодаря этой песне я нашла путь к сердцу кубинского зрителя. Его искренность, эмоциональность и непосредственность потрясают, но вместе с тем он и очень требователен, любит красоту и чувствует её, не прощает обмана. Это замечали все советские исполнители, побывавшие на Кубе. Наверное, именно поэтому встречи с кубинцами остаются для любого из нас такими памятными. Что может быть важнее для артиста, чем сознание, что твои песни нужны людям и что в благодарность они отдают всю теплоту своих сердец!

Тогда же, в первый наш приезд, известная кубинская актриса Элен Бурке присвоила мне титул «Госпожа Песня». Это означало для меня очень многое, ведь такие слова об артисте, прежде всего, говорят о людях, которые его принимают, об их отношении к нашему искусству, об их любви к нашей стране.

Второй раз я закрепила этот успех, когда мы в следующем году приехали туда от Госконцерта и я запела по-французски песню «Те, из Варшавы». Мы ездили по всей Кубе, и принимали нас там сердечно. В результате на Кубе мы выступали раз пять.

Но даже спустя годы я вспоминала свой первый приезд на Кубу в 70-м году, на фестиваль «Варадеро». Тогда меня поразило, насколько эмоционально мы близки – русские и кубинцы. И песня «Наш сосед» пришлась очень кстати, так как мы были наслышаны о музыкальности кубинцев, их умении чувствовать ритм. Эта песня была написана за два года до нашей поездки на Кубу – в 1968 году. На истории её создания я хотела бы остановиться

подробнее.

Из воспоминаний Анны Потемкиной – дочери Бориса Потемкина

«*…На дворе был конец 1965 года. В один ничем не отличающийся от остальных зимний вечер папа спел нам с мамой новую песню про соседа, который постоянно играет на кларнете и трубе. Песня нам очень понравилась. Потом она очень понравилась папиным обычным слушателям: друзьям и сотрудникам по работе. Следующие полтора года песню с большим энтузиазмом исполняли у нас дома.*

В июле 1967 года мы с мамой впервые за все годы отправились отдыхать на Кавказ. Папа поехать с нами не мог, но регулярно писал письма. В конце одного из писем была приписка: «Кстати, пару дней назад набрался наглости и пошёл к Броневицкому. Он взял две песни. Сомневаюсь, что Пьеха будет их петь, но спасибо, что не выгнал».

Когда мы вернулись домой, папа описал свою встречу с Пьехой и Броневицким подробнее. Узнав, что Пьеха выступает в Ленинграде, папа подъехал до или после концерта, не помню точно. Броневицкого уже ждал какой-то человек с большой папкой клавиров. Он спел несколько песен. Было видно, что Броневицкому это неинтересно, что он устал и процесс его раздражает. Папа уже хотел уйти, понимая, что в таком состоянии Александр Александрович вряд ли отнесётся благосклонно к творчеству самоучки. В конце концов Броневицкий взял у настойчивого композитора одну песню, скорее всего, чтобы закончить аудиенцию. Потом он увидел папу и приветствовал его радушным: «Ну что там у вас?» – «Песни», – ответил готовый провалиться сквозь землю папа. «Я понимаю, что песни. Покажите клавиры». – «У меня нет клавиров, но я могу спеть». Броневицкий указал папе на рояль и куда-то отошёл. Видимо, недалеко, потому что на первом же куплете «Соседа» он вернулся и стал слушать. Когда папа закончил, он сказал: «Пойте ещё». Папа спел ещё несколько песен, после чего Броневицкий позвал Пьеху и попросил папу спеть первую и третью песни ещё раз. Папа так волновался, что не слышал ни как он поёт, ни что сказала Пьеха. Из стопора его вывел голос Броневицкого: «Я беру эти две песни, но они мне нужны срочно. Садитесь и пишите клавир». Это был полный провал – папа не умел писать ноты. К счастью, к этому моменту Александр Александрович проникся к новоиспечённому композитору некоторым сочувствием. Он потребовал, чтобы немедленно раздобыли где-нибудь магнитофон. Пока искали магнитофон, он взял клавир предыдущего автора и со словами: «Вот на этом

творчестве и запишем» стал сам писать мелодию. Ему не хватило свободного места на листе, он откуда-то оторвал клочок нотной бумаги и дописал на нём. На этом отдельном клочке был записан второй вариант припева. Дело в том, что изначально припевов у песни было два. Или клочок нотной бумаги потерялся, или второй вариант припева Броневицкому не понравился – мы уже никогда не узнаем.

В результате спешки и суеты произошёл ещё один конфуз. У папы в тексте было: «Как теперь не веселиться, как грустить от разных бед». Пьеха спела эту строчку чуть-чуть иначе: «Как теперь не веселиться, не грустить от разных бед». Папа постеснялся указать на то, что замена «как» на «не» меняет смысл. Судя по всему, никто этого не заметил.

Следующие два года «Сосед» звучал постоянно и всюду: по радио, по телевизору, в ресторанах. Разве что не из чайника. Когда летом распахнулись окна в наш двор-колодец, мы вынуждены были закрыть своё окно, даже рискуя задохнуться. В каждой квартире крутили синюю гибкую пластинку «Пап, пап…». Наша соседка по коммуналке начала с ненавистью поглядывать на папу, и её трудно было винить. Но всё равно мы были очень горды и счастливы!»

В 1977 году мне выпала честь участвовать в Днях советской культуры, посвящённых шестидесятилетию Великого Октября. В те дни Куба принимала представителей самых разнообразных жанров нашего искусства, были среди них и прославленные коллективы, и известные солисты. Я приехала с новым ансамблем, и, наверное, поэтому мы все волновались вдвойне, но когда объявили наше выступление, зал встал и начал аплодировать. Нам казалось, что аплодисменты длятся бесконечно! Так кубинцы выражали свою любовь к советской песне, своё доверие к нам и симпатию к нашему народу! Забыть такие минуты невозможно.

Существует невероятное количество развлекательной музыки, её пишут в разных ритмах и у нас, и в других странах. Одна мода сменяется другой, но славу нашей советской песне принесли именно такие произведения, которые знает и поёт весь мир. Эти песни бессмертны, они наша классика.

Потом мы встретились с кубинцами спустя шесть лет. Гастроли длились двадцать дней, мы побывали в трёх провинциях и дали тринадцать концертов. Снова были цветы и аплодисменты, улыбки и объятия, но самое большое впечатление на этот раз произвела встреча с новой, социалистической страной. Какие большие перемены произошли за эти шесть лет! С какой гордостью показывали нам кубинцы новые заводы и больницы,

школы и театры. Это были самые простые рабочие люди, преданные своей родине и своему делу. Контакт с ними установился сразу, языковой барьер исчез. Я вглядывалась в их лица и видела новую, счастливую Кубу. Для таких людей хочется петь и петь, пока хватит сил.

Прощание с мамой

Весь июль 1971 года «Дружба» выступала в Сочи. Я, Илонка, Сан Саныч. Море, солнце, в залах абсолютные аншлаги. Мне бы радоваться, но душу терзала невесть откуда взявшаяся тоска. А в последний день июля – звонок: «Дита, мама умирает». И я с десятилетней Илонкой полетела через Москву в Ленинград, где за час добрые люди помогли сделать визу, потом – снова в Москву, в Шереметьево. И в Сочи, и в Питере, и в столице меня провожали поклонники. Каждый второй спрашивал: «У вас с собой достаточно денег?» – и совал в сумку купюры.

Из Варшавы нужно было ещё лететь до Вроцлава. А рейса в этот день нет. Хватаю за руку таксиста: «Мне до Вроцлава, и там ещё девяносто километров. Поедете?» Он мнётся: «Вообще, можно. А сколько заплатишь?» – «У меня полная сумка денег. Но только советских. Рубли возьмёшь?» Опять мнётся. Но тут ему на глаза попадается измученная долгой дорогой и переживаниями Илона. «Ладно, поехали».

Парень оказался совестливым: узнав, что еду к умирающей матери, лишнего не взял. К больнице подъехали ночью. Врач сказал: «У вашей мамы рак крови, уже несколько лет. Она не хотела, чтобы о её болезни знали родные. Резкое ухудшение объясняется сильной простудой, перешедшей в пневмонию. Больше суток она в беспамятстве, а до этого всё время повторяла: «Эдита. Эдита». Мне кажется, она до сих пор жива только потому, что ждёт вас. Однако на то, что придёт в себя и вы сможете поговорить, даже не надейтесь».

Я вошла в огромную палату и в тусклом дежурном свете стала вглядываться в лица лежащих на кроватях женщин. И вдруг услышала шёпот: «Эдита…» Стоявший позади меня доктор потрясённо обронил: «Это невозможно». Присев на край кровати, я взяла руку мамы в свои, заглянула в запавшие глаза. «Я дождалась тебя, дочка, я дождалась. – Серые сухие губы тронула слабая улыбка. – Ты очень устала – я вижу. Езжай отдохни, а утром мы с тобой поговорим». «Мама, разрешите с вами посидеть». – «Нет, нет. Мы обе перед завтрашней встречей должны отдохнуть». Я послушалась, но сомкнуть глаз так и не смогла. Утром мы с Илоной с полной сумкой продуктов, которые, как мне сказали, помогают при белокровии: чёрной икрой, самым лучшим «Каберне» – поехали в больницу. Врач, увидев гостинцы, помотал головой: «Зачем? Она уже даже воду не пьёт…»

А маме будто стало лучше, мы проговорили час, может, больше. Впрочем, в основном говорила я, а мама слушала, глядя

то на меня, то на внучку. Её взгляд наткнулся на Илонкины стоптанные босоножки, в которых она бегала по сочинскому пляжу. Я и сама прилетела в чём была, и дочку в Питере переодеть-переобуть не успела. Если честно, эта мысль просто не пришла мне в голову, была занята совсем другим. «Подними мою подушку, – попросила мама, – там кошелёк. Возьми деньги и купи Илонке туфельки». С языка готово было слететь: «Не нужно, у меня есть деньги», но я осеклась. Отказаться – значило лишить её счастья сделать подарок любимой внучке.

Из больницы мы ушли после полудня: мама сказала, что хочет отдохнуть: «Придёте завтра. – Она задержала мою руку в своей и вдруг горячо заговорила: – Ты прости, что я вышла за отчима. Мне было очень больно, когда он тебя обижал, и сама я никогда его не любила. Но без него мы бы не выжили. Понимаешь?» Едва сдерживая слёзы, я кивнула: «Понимаю, мама. И вам не за что просить у меня прощения».

Прямо из больницы мы зашли с Илоной в магазин, выбрали обновку. Придя домой, она тут же похвасталась Яну и дяде Юзефу: «Смотрите, какие у меня туфли! Бабушка подарила!» В шесть часов сели ужинать, и вдруг – страшный грохот. Отчим вскочил: «Не иначе как входная дверь захлопнулась, она у нас тяжеленная, пойду посмотрю». Вернувшись, пожал плечами: «Вроде в порядке», а у меня внутри всё вдруг сжалось, не вздохнуть. Побежала к телефону-автомату, набрала номер больницы и услышала: «Ваша мама умерла десять минут назад».

Мне нужно было возвращаться в Ленинград, и я оставила деньги священнику, настоятелю костела, при котором было кладбище, чтобы он устроил маме место упокоения, как полагается. Но потом мой брат Юзеф нарушил покой мамы: когда умер его отец, мой отчим, Ян Голомб, брат не захотел тратиться на отдельную могилу и положил его в мамину. Получилось, что после смерти мама разделила место упокоения с человеком, которого не любила.

Спустя год в качестве участницы культурной программы я поехала в Мюнхен на Олимпиаду. И вот советская делегация – знаменитые спортсмены, артисты – через Европу возвращается на автобусах домой. Уже на территории Польши делаем остановку, я иду к машине, в которой едет руководство: «Мы скоро будем проезжать Вроцлав. Неподалёку городок, где похоронена моя мама. Я хотела бы навестить её могилу». «Подумаем», – был ответ.

В пригороде Валбжиха кавалькада останавливается, и один из руководителей делегации входит в наш автобус: «Какой, говорите, крюк придётся сделать?» «Километров девяносто…» –

«Поехали». Многие актёры и спортсмены везли букеты, подаренные им в Мюнхене. Когда я пошла с охапкой цветов к воротам кладбища, все потянулись за мной. И тоже с цветами. На могиле мамы вырос огромный курган из роз, лилий, тюльпанов.

«Какой чести вы, мамочка, дождались, – прошептала я. – Такие люди, гордость великой страны, возлагают на вашу могилу цветы. И эта честь заслуженная…»

В это непростое время мне очень нужна была поддержка близких людей, но от Шуры Броневицкого её трудно было дождаться, он по-прежнему был суров со мной, работа для него была на первом месте. Ради справедливости замечу, что суров он бывал не только со мной, но и со всеми музыкантами «Дружбы». Дело кончилось тем, что в 1972 году на «корабле» произошел бунт: весь коллектив «Дружбы», кроме меня, решил от него уйти. Почему? А вот что случилось.

Мы два месяца находились на гастролях, все устали. И тут пришла телеграмма от Екатерины Алексеевны Фурцевой о продлении гастролей ещё на месяц – в программе «Эстрада без парада» в Московском Театре эстрады. Музыканты заявили: «Шура, мы не поедем. Выбирай: либо мы, либо Москва». Директор Ленконцерта – Георгий Михайлович Коркин, волевой человек, прислал Броневицкому телеграмму: мол, я не могу не подчиниться приказу Фурцевой, увольняйте, если не хотят ехать. И ведь уволили! Тогда много говорили о распаде «Дружбы», были разные версии, но не было правды.

От редакции.

Это был сложный этап для всех: для Александра Броневицкого, для Эдиты Станиславовны и, конечно, для всех музыкантов ансамбля «Дружба». Как говорят в таких случаях, правда есть, но у каждого она была своя. Сегодня расставить точки над «и» уже невозможно, можно лишь привести здесь официальный документ – письмо, написанное некоторыми участниками ансамбля, чтобы иметь хоть какое-то представление о ситуации.

Письмо в дирекцию ЛО ВГКО

«…К вам обращается группа артистов бывшего ансамбля «Дружба» при ЛО ВГКО. Приказом дирекции ДО ВГКО за № 268 от 19 ноября с.г. мы были уволены с работы по пункту «Е» 47 ст. КЗОТа за прогул.

Причины, вызвавшие этот поступок, не заинтересовали никого. Семь лет существовал ансамбль «Дружба». За эти годы он проделал большую работу по обслуживанию трудящихся нашей

страны. В любом конце Советского Союза: Дальний Восток, Сахалин, Сибирь, Целинный край – в любых условиях работал ансамбль, и не было ни одного случая отказа от работы. Ансамбль непрерывно рос творчески, о чем свидетельствуют многочисленные отклики печати, а также почетные грамоты и звания (первые премии на VI Всемирном фестивале и на II Всероссийском конкурсе артистов эстрады 1962 г.). Возрастала популярность, а отсюда – доходность. Каждый концерт проходил при переполненном зале. И год от года стала возрастать загруженность, переходя все предельные нормы. Прибыльность – в ущерб художественному качеству. Дирекция стала забывать, что огромная загруженность сказывается на художественном уровне выступлений и на здоровье людей.

Коллектив находился в поездках по 8–9 месяцев в году. По положению дирекция имеет право не давать выходных дней коллективу, находящемуся в гастрольной поездке, но т. к. подавляющую часть времени мы находились в этих поездках, то мы автоматически были лишены выходных дней. Дирекция не считала нужным давать нам отгулы. Кратковременные пребывания в Ленинграде тоже были заняты работой. А у всех есть жены, у большинства – дети, которые растут, не видя своих отцов. Такие условия работы привели к возникновению конфликтов, грозящих распадом семьи. Мы неоднократно обращались к дирекции с просьбой нормализовать нашу жизнь. Дирекция каждый раз признавала наши просьбы справедливыми, давала обещание исправить положение, но обещаний своих не выполняла.

Ансамбль «Дружба» – вокальный октет, каждый артист которого выполняет свои самостоятельные функции в многоголосом пении и сценическом действии, поэтому выход из строя даже одного человека из восьми чувствительно влияет на качество выступлений. Ансамбль работал сольными концертами из двух отделений, и каждый артист находился на сцене от начала и до конца концерта, неся на себе большую нагрузку. К тому же ансамбль ежедневно репетировал, готовя новую программу.

10 сентября с.г. ансамбль выехал в очередную поездку по Северному Кавказу. Поездка проходила в чрезвычайно трудных условиях: частые длительные тяжелые переезды в автобусах перед концертами, работа на открытых площадках при сильных ветрах и температуре +7–9 градусов. Но все концерты состоялись. Это привело к ряду заболеваний среди артистов ансамбля, которые в интересах дела с целью предотвращения срыва концертов часто работали в больном состоянии. В Кисловодске артист Бакеркин, заболев ангиной, все же выбыл из строя на неделю. У артиста

Алахвердова была обнаружена опухоль (фиброма) на связках – результат перенапряженной работы. В настоящее время он перенес операцию, и дальнейшая судьба его как певца неизвестна.

К концу поездки люди были измотаны, устали, больны. Художественный уровень выступлений резко снизился, что подтверждал и художественный руководитель т. Броневицкий. Артисты рассчитывали на кратковременный отдых по приезде в Ленинград согласно утвержденному плану, чтобы в нормальных условиях подлечиться и восстановить силы.

В этой обстановке мы получили предписание выехать для работы в Москву. Ввиду сложности обстановки немедленно было созвано производственное совещание, на котором все единодушно признали, что коллектив в таком состоянии не может продолжать работу без передышки, тем более в Москве. Общее собрание коллектива приняло решение:

1. Обратиться с письмами в дирекцию ЛО ВГКО и Ленобком КПСС.

2. Вызвать представителя дирекции в г. Ростов.

Несмотря на наши сигналы о состоянии людей и низком художественном уровне выступлений, дирекция подтвердила распоряжение о продолжении работы и своего представителя в Ростов выслать отказалась. В течение недели мы взывали о помощи.

Коллектив оказался в безвыходном положении: ехать в Москву – значит поставить себя под угрозу дисквалификации, т. к. многие певцы были уже на грани профзаболеваний. Искусство требует жертв, но не бессмысленных. Не видя другого выхода, 7 артистов подали заявление об увольнении, несмотря на огромную любовь к коллективу, к делу. Это случилось за 9 дней до начала выступлений в Москве. За этот срок, казалось бы, можно было что-то предпринять для предупреждения конфликта. Как же повело себя руководство ансамбля в сложившейся обстановке?

Новый директор ансамбля т. Богданов за месяц работы умудрился восстановить против себя весь коллектив. Были моменты, когда он мог отменить концерты ввиду несоответствия условий работы нормам охраны труда. Он писал докладные записки, основанные на неверных фактах. Вместо того чтобы по нашим настоятельным просьбам как можно полнее информировать дирекцию о положении дел в ансамбле, Богданов взялся сам разрешить все проблемы, совершенно изолировав коллектив от дирекции. Обвиняя тяжело больного артиста Алахвердова в симуляции, он отказался дать затребование на медицинское заключение, когда врач города Ростова настаивала на немедленной отправке Алахвердова в Ленинград для операции.

Алахвердов вынужден был по собственной инициативе выехать в Ленинград, после чего Богданов потребовал от врача заниженный диагноз. А отказ Богданова выдать зарплату возмутил весь коллектив.

Художественный руководитель ансамбля А. Броневицкий на собрании коллектива признал положение ненормальным и предложил обратиться с письмами в вышестоящие инстанции с просьбой об отмене гастролей в Москве. Заявления об уходе основных семи (из одиннадцати) артистов руководителя ансамбля нисколько не взволновали. «Другие будут» – в этой фразе он весь. За время существования ансамбля сменилось 6 администраторов из-за невозможности работать с Броневицким. Для достижения своих целей он идет по головам, не считаясь с людьми и не щадя их. Примерами жестокого отношения Броневицкого к вверенным ему людям являются случаи, происшедшие в конце последней поездки в городах Кисловодске и Махачкале, где ансамбль работал на открытых площадках. Когда артисты, и так уже простуженные, ввиду холодной погоды попросили снять с программы концерта песню «Ковбой», в которой они на протяжении всей сценки должны лежать на холодном полу в одних сорочках, Броневицкий отказался без видимых на то причин. После этого все артисты переболели в большей или меньшей степени.

Не раз проходили собрания коллектива, где Броневицкий давал обещания изменить стиль работы и отношение к людям. И вот сейчас вместо того, чтобы смело и правдиво заявить о состоянии коллектива, за художественный уровень выступлений которого он нес ответственность, Броневицкий оставшегося в Москве артиста Писарева – профгрупорга, который пытался объяснить подлинную суть дела работникам Министерства культуры, немедленно убрал – отправил в Ленинград, заявив, что он ему мешает.

Товарищи Богданов и Броневицкий своими порочными методами не только не помогли спасти положение, но подогревали и без того накаленную атмосферу. В этой обстановке и в доведенном до крайности состоянии мы не нашли другого выхода, как уехать в Ленинград, не доработав нескольких дней до установленного двухнедельного срока после подачи заявлений об уходе, но выполнив план гастролей по Северному Кавказу до конца.

Местком ЛО ВГКО, не вызвав и не заслушав нас и даже не потребовав объяснительных записок, дал согласие на увольнение нас по пункту «Е» 47 ст. КЗОТа за прогул без смягчающих обстоятельств.

Мы были на приеме у секретаря парткома ЛО ВГКО т. Первовой, которая признала необходимым тщательно разобраться в происшедшем. Подали заявление в местком с просьбой разобрать

наше дело в нашем присутствии. Зам. директора т. Тихантовский тоже признал необходимым разобрать случившееся в нашем присутствии.

Спустя почти месяц после нашего увольнения директор ЛО ВГКО т. Коркин в присутствии председателя месткома т. Королева заявил нам, что решение дирекции не окончательно. Разбор дела откладывался до приезда Броневицкого. Броневицкий был вызван в Ленинград, но вопрос решился в административном порядке, без нас и без общественных организаций.

Для того чтобы найти поддержку у общественности и вызвать неприязненное отношение к нам, со слов т. Коркина журналистом Гореловым была написана и опубликована в газете «Вечерний Петербург» от 22 ноября с.г. клеветническая статья под заглавием «Билеты подлежат возврату». В этой статье предъявленное нам обвинение строится на вымышленных фактах, вообще не имевших место, которые отрицает даже Броневицкий. Отношения коллектива и Броневицкого ставятся в этой статье с ног на голову.

Надеясь на объективный разбор дела в общественных организациях и дирекции, мы ждали и никуда не поступали на работу. Второй месяц мы не работаем, и семьи наши остались без средств.

Мы убедительно просим разобрать наше дело и сохранить коллектив ансамбля «Дружба», которому мы отдали свои сердца.

Изложенное в настоящем письме подтверждают оставшиеся члены ансамбля:

Л.Алахвердов, В.Окунь, А.Осипов, Гвоздовский /и еще 4 подписи неразборчиво/.

1972 год…».

Произошедшее назревало давно и вылилось во вполне закономерный «бунт на корабле», к нему все и шло. Так мы с Сан Санычем остались одни. Месяц работали в Москве с другими музыкантами. Потом он по всей стране собирал новых участников – певцов и музыкантов. Так «Дружба» обновилась, но принцип многонациональности был сохранен: ее участниками опять стали представители самых разных союзных республик – Грузии, Армении, Эстонии, Латвии, Украины.

И опять ошеломляющий успех. Так мы работали до 1976 года. Тогда я чувствовала себя состоявшейся артисткой. Нет, я не зарывалась, просто правильно поняла свое место. У нас с Броневицким постоянно начинались перепалки: любая мелочь раздражала его. Если я пела песни Пожлакова или Морозова, молодых тогда авторов, Сан Саныч закатывал скандал. «Надо петь

только знаменитых Фельцмана, Фрадкина, Флярковского!» – требовал он. Потом интриганы-сплетники ему наушничали, будто бы я хочу подмять его под себя, чтобы «Дружба» стала моим антуражем. Подмять я его никогда не хотела, но часто говорила Сан Санычу, что афиша должна гласить: «Броневицкий, Пьеха и ансамбль «Дружба». А она гласила: «Ансамбль «Дружба», художественный руководитель Броневицкий и – мельче всех – солистка Пьеха». Я, конечно, очень страдала из-за этого. Ведь ходили-то на меня! И если я болела, сдавали билеты.

Но пришел час, и я решила: все, больше так не могу. Если хочу себя сохранить, надо уходить, жить одной. Личные взаимоотношения с Александром Александровичем, с которым мы прошли вместе по жизни двадцать лет, дали трещину. Возникло желание расстаться.

«Прощай…»

И вот на двадцатом году работы в ансамбле я сказала: «Шура, я готова работать вместе с тобой и дальше, только давай поменяем афишу, мне до смерти надоело, что на первом месте ансамбль, давай напишем: «Александр Броневицкий, Эдита Пьеха и ансамбль». Но он уперся: «На первом месте должен быть ансамбль!» И тогда я поняла, что надо уходить. Перед тем как объявить Броневицкому о своем решении, со многими советовалась: «Что со мной будет?» – «Будете петь в кинотеатрах, перед сеансами», – отвечали мне. «Хорошо, но пусть объявляют: «Выступает Эдита Пьеха».

Когда я сказала, что ухожу, Сан Саныч не мог в это поверить, он всерьез считал, что я не смогу работать одна: «Без нас ты погибнешь!» – «Я не погибну, я буду, меня публика полюбила, признала, поэтому мне не страшно». – «Ну, увидим. Время рассудит!» – сказал он. И время рассудило.

30 июня 1976 года состоялся последний мой концерт с «Дружбой». Местью Броневицкого мне стал полный разрыв наших творческих отношений. Он вел себя как ребенок, у которого отняли игрушку, – растерялся и уже не был прежним Броневицким, а я все-таки осталась Пьехой. Ансамбль «Дружба» остался с ним, и он взял новую солистку, но сделать из нее вторую Пьеху у него не получилось.

От редактора:

В качестве смыслового дополнения хотелось привести здесь очень ценные воспоминания об Александре Александровиче Броневицком его брата Евгения.

«*Сжигающая Сан Саныча энергия, не находящая своего воплощения в рамках работы, в рамках выбранного жанра, требовала перемен. Хороших советчиков вокруг него не было. Два придворных – Вильдавский и Буданицкий, которых он очень любил и к мнению которых прислушивался, ничего путного Сан Санычу насоветовать не смогли. Первый, в конце концов, бросил барабаны и стал теперь успешным банкиром в Москве, второй эмигрировал в США и счастливо умер в Нью-Йорке.*

Одним словом, Сан Саныч стал где-то в году 1976-м «психовать». Он чувствовал сильное желание сломать устоявшиеся рамки, но был «дитя своей страны, эпохи и Ленконцерта». Своё внутреннее жжение и недовольство он обратил на ближайшего ему человека – Эдиту Станиславовну

Пьеху. С одной стороны, он стал беспредметно придираться к ней в творческом плане, с другой – как сумасшедший ревновать.

Всегда Эдиту Станиславовну провожали мужчины. Может быть, внешне красивее Сан Саныча. Может быть, это вызывало у него какую-то ревность. Он даже во Францию ездил к ней. Так, инкогнито, чтобы, не дай бог, она его там не видела. Вы знаете, ревность, по-моему, в каждой семье есть.

Сан Саныч был с нею груб, когда он заставлял делать то, что она не хотела делать. А он был прав. Они очень разные люди. Два упрямых человека. Не нашли в конце совместного проживания какие-то общие точки соприкосновения, компромисс. И, к сожалению, не могли найти.

Он человек бескомпромиссный. Да и она тоже.

Она ему предлагала: «Давай я останусь работать, и всё будет по-прежнему. Только мы не будем мужем и женой». В этом смысле она была более последовательной и, может быть, более мудрой, чем он в то время. А он категорически: «Я с тобой работать не буду. И ты без меня пропадёшь». Он думал, что он её, может, этим удержит.

Он с ней мало репетировал, практически не обращал внимания на неё, он только с ансамблем занимался, как бы показывая, что она здесь лишняя. Это было очень обидно. Я работал тогда с ними и наблюдал их предразводное, такое жуткое состояние.

Она хотела всё-таки сохранить коллектив. Но потом, когда она поняла, что бесполезно, она на все плюнула, ушла. Вскоре вокруг неё образовались музыканты, которые были способны восстановить то, что сделал Сан Саныч. А потом и композиторы принесли песни, и она моментально вспорхнула на ту же самую высоту, на которой была с Броневицким, и даже выше. Ну, личность. Красивая женщина, с оригинальным голосом.

В январе 1976 года в Ленинграде состоялся «Творческий вечер композиторов А.Броневицкого и В.Успенского». Тогда Эдита Пьеха впервые, а возможно, и единожды, исполнила новые песни Сан Саныча «Это не любовь» и «Осень». После развода она их не пела, не звучали они и в «Дружбе». Видимо, Броневицкий писал их специально для Эдиты, это было что-то личное, поэтому ни Троицкий, ни Романовская их не исполняли. В том же году с оркестром Ленинградского радио п/у А. Кальварского (уже не с Броневицким) Эдита Пьеха записала «Прощальную песню».

Как будто и лето не лето, и только дожди у земли,
Как будто и песен не пето, не сказано слов о любви.
Всё те же и ветер, и птицы, и озера зыбкая гладь,
Казалось, так просто проститься,

простились – и нечем дышать.
Мы в разное время выходим навстречу
своим декабрям,
А в небе в конечном исходе нам прежние
звезды горят.
Явилось мне горькое чудо, и разве уйдешь от себя,
Я знаю, с тобою мне худо, но худо совсем без тебя.
И нету хоть малой надежды, ни света вдали, ни огня,
А память дорогою нежной к тебе возвращает меня.
И сможет ли кто разобраться,
в чем всё же любви существо:
С кем сердце хотело расстаться —
расстаться труднее всего.

Разрыв творческий был тесно связан и с концом наших личных отношений, но если с ансамблем все получилось несколько неожиданно, то кризис семейный назревал долго. К 1976 году мы практически не жили как муж и жена, и длилось это с 1973 года. Я не интересовала его как женщина. Да и мне самой казалось, что не стоит искать приключений, просто понимала: наша любовь с Броневицким прошла, и этого не изменить. Но судьба подкинула неожиданную карту: Сан Саныч привел в наш дом сотрудника КГБ Геннадия Шестакова. Он был младше меня на семь лет, но эта разница в возрасте совсем не чувствовалась. В отличие от Броневицкого, он умел ухаживать за женщинами. Какая страсть была в его глазах. Как красиво он это делал! Конечно, я не смогла устоять, хотя с завидной регулярностью слышала от окружения разного рода намеки, сводившиеся к одному: «Это не твой человек, он не для тебя!», «Не нужно с ним связывать жизнь…». Но надо знать мой характер, чтобы понять – подобные «советы» никогда не брались мной на заметку. Всегда стремилась оценивать жизнь и людей, только руководствуясь своими собственными представлениями и интуицией. Забегая вперед, скажу: окружение было право, но такова женская природа – когда сердце покорено кем-то, разум и интуиция бессильны. Нам суждено пройти печальный путь ошибок до конца, чтобы понять, в чем мы ошибались. Иначе никак.

Тем не менее тогда, в 1976 году, встреча с Шестаковым стала тем главным стимулом, что подтолкнул меня на разрыв с Александром Александровичем. Жалею ли я об этом сегодня? Да, другое дело, что и наши отношения с ним к тому времени зашли в абсолютный тупик. Я так ему и сказала: «Шура, я ухожу к Геннадию. У меня нет больше сил терпеть твои измены и

ревность. Хочу, чтобы кто-то обо мне заботился – приносил после концерта стакан чаю, укрывал ноги пледом. Думаю, мы могли бы остаться друзьями и продолжать вместе работать…» – «Нет, дорогая, этого не будет!!! Даже не надейся!!! – заорал Броневицкий. – А без меня ты никто! Через месяц тебя забудут!»

Довольно скоро Александр Александрович сошелся с артисткой ленинградского Театра музыкальной комедии Ириной Романовской и пытался сделать из нее вторую Пьеху, но не получилось. Наши общие друзья рассказывали, как он переживал, приходил к ним, садился к роялю и наигрывал польские и французские песни, где говорилось о прекрасной женщине, по которой скучает её мужчина.

В жизни любого человека развод оказывается делом тяжелым.

Рвать семейные узы, особенно с тем, кто столько лет был частью твоей жизни, все равно что отрезать от себя часть. Мы с Броневицким, несмотря на многие различия в темпераменте и взглядах на жизнь, все-таки были едины в основном – в творчестве. Правда, и здесь я ухитрялась отстаивать что-то свое, он сердился, говорил, что я упрямая, что со мной невозможно договориться, но проходило время, и наши прежние разногласия казались незначительными.

Тогда, спросите, что нас развело? Любые отношения должны развиваться. Я встретилась с Сан Санычем, когда была молоденькой, неопытной девушкой, не имела ясного представления, чего хочу от жизни, знала лишь, что намерена добиться успеха в той профессиональной области, которую выбрала. Долгое время наивно полагала, что буду преподавателем и свяжу свою жизнь с наставничеством. Учась на философском факультете, искала различные способы самосовершенствования, а получилось совсем иначе. Получилось так, что в мою жизнь вошел человек и открыл для меня особый мир – мир музыки. Он сделал песню смыслом моей жизни, все, что я имела, было подчинено музыкальной гармонии, и даже личные отношения с Броневицким. Он стал для меня учителем и возлюбленным, мужем и другом, а мне хотелось, чтобы он еще был для меня отцом, отцом, которого я потеряла. Этого он не смог мне дать.

Все годы, проведенные вместе, я ждала от него отцовской ласки, наверно, как любая женщина. Ласка отца к своей дочери особенная, она обнаруживает самые трогательные черты мужского характера, то, что со стороны может показаться слабостью. Мужчины, у которых есть дочери, лучше понимают женщин, они не такие суровые и жесткие, как те, у кого их нет. Мой папа понимал мою маму, как никто другой. И хотя я была ребенком, помню, как они разговаривали без слов, одними взглядами. Да, теперь, спустя годы, я понимаю, что хотела видеть своего отца в каждом из своих мужей. Но, увы…

Развод с Броневицким сильно ударил по моей семье. И по отношениям с Илоной в том числе, ей было 15. Трудный возраст сам по себе, да тут еще родители разводятся. Конечно, я пыталась говорить с ней, но она стояла на своем. Она всегда была папиной дочкой, так что меня не удивило то, что она приняла сторону отца.

Илона Броневицкая

«….*Это был как гром с ясного неба. Мама встретила другого*

мужчину, молодого. И ушла от папы. Помню, как они уединялись и смотрели друг на друга такими особыми взглядами, что говорят о влюбленности. Они думали, что я ничего не понимаю, шли куда-нибудь и брали меня с собой, для отвода глаз, а я все понимала. Глаз не могли отвести друг от друга, настолько все было сильно. Да, у них была любовь. Ничего не скажу, он был красивый, этот Шестаков, бывший спортсмен, кареглазый, на молодого Бельмондо смахивал. Другое дело, что он был совсем другого цеха человек. Ко всему прочему, еще и работник КГБ, курировал их заграничные поездки. И все равно не понимаю, как она на это пошла, неужели надеялась, что у них что-то получится. Они ведь были совершенно разными людьми. Да, он был красивый, в этом смысле я ее понимаю.

Самое горькое то, что его в наш дом привел папа. Надо было как-то решать проблему с невыездностью. Нам постоянно ставили палки в колеса в смысле поездок за рубеж – мало того, что солистка иностранка, да еще и сам ансамбль непонятный, вот если бы ансамбль песни и пляски, тогда было бы легче. Помню, как на этой почве им зарубили при мне несколько поездок, мама тогда жутко расстроилась. Папа захотел решить этот вопрос раз и навсегда. По-своему. Решил… Так появился Шестаков Геннадий Иванович. Для налаживания отношений. Вот и наладили. Довольно скоро выяснилось, что он пьющий. Первое время, когда все вскрылось, – что мама уходит к нему, я жутко Шестакова ненавидела, он был моим злейшим врагом. Все придумывала, как я его убью самым страшным и мучительным образом. Он ведь разлучил моих родителей! И вот тут-то я дала маме «прикурить». Во мне все вскипело: бунт подростковый усилился горечью и обидой на маму. Все, что было во мне плохого, обнаружилось. Стала пить, курить, грубить всем подряд. После развода осталась с папой, с гордостью носила его фамилию. На выходные ездила к бабушке – Эрике Карловне, но потом она уехала в Латвию, и я оказалась одна. Папа пытался налаживать личную жизнь, у него плохо получалось, хотя женщин, желающих связать с ним свою жизнь, было хоть отбавляй. В конце концов, у него появилась эта… Романовская, корыстная она была, не любила его по-настоящему, хотела, чтобы он из нее «звезду» сделал. Маму называла «размалеванным манекеном».

У мамы с Шестаковым тоже не сильно ладилось. Он пил, ничем особенным не занимался. Первое время у них было все неплохо, но потом стало понятно, что ничего общего нет. Самое смешное то, что всю эту ситуацию с разводом мамы с отцом я приняла, только когда она уже развелась с Шестаковым. Более того, он тогда стал работать в нашем театре, театре «БУФФ»,

директором, и, надо сказать, оказался нормальным мужиком. Но рядом с мамой он был не на своем месте. В нашей жизни все недоразумения происходят от того, что кто-то оказывается не на своем месте. В свое время он ушел от своей жены. Зачем ушел, не понятно… Потом он пришел в наш театр, стал его директором, помогал нашим ребятам миновать армию, всем помогал, ходил хлопотал за всех. А потом, когда он с мамой уже развелся, получилась удивительная история. Я уже жила в Москве, но приехала в Питер по делам. И вот еду, и вдруг вижу – в другой машине сидит Геннадий Иванович. Естественно, мы решили пообщаться. Он сел в машину ко мне, и мы очень долго разговаривали… Навсегда запомнила, как он тогда сказал: «Господи, я же так ее любил, и чего она вот так?! Эх!» Расстались мы через полтора-два часа, попрощались, я пришла домой, и мне звонит бывший однокурсник. И в середине разговора вдруг говорит: «Знаешь новость? Геннадий Иванович умер…» Оказывается, после нашего разговора он поднялся наверх по лестнице и прямо перед дверью упал и умер. У него случился обширный инфаркт. Я была последним человеком, кто с ним общался, и он говорил о маме. О том, как её любил…»

Да, с Илоной мне пришлось договариваться. В свои 15 лет она была уже очень самостоятельной, и убедить ее в чем-либо представлялось задачей непростой, хотя меня спасало от явных скандалов то, что она была подростком, занятым своими собственными проблемами. Она жила своей, довольно бурной жизнью. И, как я понимаю, наши взрослые проблемы её не очень трогали. Она знала о моих отношениях с Геннадием Ивановичем Шестаковым, но мы напрямую их не обсуждали. Не очень это было принято. Хотя наши отношения с дочерью наладились после одного случая. В первый год после нашего развода с Сан Санычем Илона влюбилась. Даже не помню, как его звали, но ей очень хотелось, чтобы у них все получилось. Я взяла и пригласила этого молодого человека к нам домой, а после – на загородную прогулку. И так случилось, что хватило всего этих двух встреч, чтобы стало понятно, что он из себя представляет. Мне не пришлось убеждать дочь, что это не её человек, все произошло само собой. На нее это произвело сильное впечатление. Когда ореол первичной влюбленности рассеялся, Илона сама поняла, что он за человек. Никак дочь не ожидала подобного, но была очень благодарна мне, и с тех пор от меня ничего не скрывала. У нас сложились отношения, как у двух взрослых людей. Я ей часто повторяла: ты можешь все делать, что захочешь, я ничего тебе не вправе запрещать. Но учти, что за все человек платит в жизни

сам. Моя мама всегда говорила мне: «Если ты сделала что-то плохое, я не буду тебя ругать. Но запомни: как постелешь, так и выспишься». То же самое говорила я Илоне.

После этого случая она стала с пониманием относиться и к разводу с Александром Александровичем, и к моему второму супругу. Хотя вспоминается один эпизод, характерный для Илоны. Накануне дня рождения Броневицкого, день рождения у него 8 июля, она подошла ко мне и сказала: «Мам, я хочу купить подарок Чуче…» Конечно, я не отказала. Дала денег на такси и бутылку хорошего коньяка. Она купила его и отправилась к Броневицкому на квартиру, где он жил. Возвращается поздно вечером жутко расстроенная, спрашиваю: «Что случилось?» Она: «Он со своей Романовской уехал в Валмиеру…» Тогда еще хутор принадлежал Броневицким, его не вернули прежним хозяевам. И Илона сказала: «Я остаюсь с тобой…» Спрашиваю: «А где коньяк?» Она: «Я разбила у него на лестничной площадке перед квартирой, злая была…» С той поры она даже как-то успокоилась, поняла, что жизнь продолжается, что у Сан Саныча уже другая жизнь, другие женщины и с этим надо смириться.

Геннадий Шестаков

Я тоже, расставшись с Броневицким, честно пыталась найти свое женское счастье. Второй раз вышла замуж в 1976 году. С Геннадием Ивановичем Шестаковым поначалу все складывалось хорошо, он на руках меня носил в буквальном смысле этого слова. Мы очень любили друг друга. По крайней мере, для меня это было большое чувство. Он, что вполне мудро с его стороны, попытался наладить отношения с Илоной. В чем-то у него даже получилось, – на выпускном вечере дочери в школе он организовал вечеринку на корабле «Кронверк». Еще до этого несколько раз были ситуации, когда она мне говорила: «Ты в школу не ходи, если классный руководитель будет иметь претензии, на родительские собрания пусть приходит Геннадий Иванович». Не помню, довелось ему прийти хотя бы раз или нет, а вот на выпускной он ходил, точно помню, хотя все было так устроено, что взрослые там вообще исключались.

Шестаков был видным мужчиной, этого отрицать не могу, но довольно скоро выяснилось, что он имеет серьезное пристрастие к алкоголю. Ничего не могла с этим поделать. И даже тогда, первое время, пыталась терпеть, закрывать на это глаза. У его пьянства была причина, о ней я узнала сильно потом: дело в том, что Геннадий Иванович был списанным спортсменом, бывшим чемпионом Хабаровского края по бегу на средние дистанции, а спортсмены очень тяжело переживают, когда становятся не нужны. И он запил. Сначала потихоньку, потом все больше и больше. Пытался от меня это скрывать. Поначалу это выглядело вполне безобидно – пара стопок водки после ужина, а потом все понеслось: каждый вечер, уже сильно подшофе, он выдавал страстный монолог: «Я устал быть приложением к знаменитой супруге, хочу, чтобы жена встречала после работы борщом и пирогами». Все это можно было бы перебороть, если бы не его друзья, с которыми ему очень нравилось выпивать, а на шестом году нашей совместной жизни я узнала, что у него появилась любовница. Она тоже была артисткой, но не певицей, а балериной. Он сошелся с ней во время Дней ленинградской культуры в Кемерово – подруга тоже оказалась любительницей «зеленого змия». В один отнюдь не прекрасный день стало ясно, что я связала свою жизнь с алкоголиком. Бросилась к друзьям, которые предостерегали когда-то от этого замужества: «Вы все знали?» – «Да. Но нам сказали, что Шестаков «зашился», хочет начать новую жизнь».

Всем известно, что бывших алкоголиков не бывает, – они

могут сорваться в любую минуту. Тогда я вспомнила, что мне говорила мой директор Софья Семеновна Лакони: «Диточка, вы делаете глупость! Он вам не пара», но я её не послушалась, потому что полюбила. Шесть лет мы с Геннадием Ивановичем были вместе, из них лишь первые два-три года я была счастлива. Я помогла ему окончить экономический факультет театрального института, он должен был стать моим директором, но все оказалось бесполезно. Он пил, а я давала по триста концертов в год, все «вживую», чтобы заработать на жизнь. Наши отношения становились все более прохладными, словно между нами вырастала стена. Я окончательно разочаровалась в своем втором муже, когда однажды, вернувшись с гастролей, обнаружила его перед телевизором, разложившим на газетке (!) выпивку и закуску. Такого в моем доме не бывало! Эта картина заставила меня окончательно признать, что я влюбилась не в того человека. К тому же он часто говорил: «Это ненормально, когда мужчина не глава семьи». Наверное, мой второй муж был прав: он не мог содержать семью и взять на себя решение всех ключевых вопросов, а я не соответствовала его идеалу женщины – сияла на сцене, домой приходила усталая, было не до борщей, и никто был мне уже не нужен…

С ним мы причинили друг другу при расставании много боли и обид. Шестаков повел себя весьма некрасиво – пытался делить мое имущество. Хороший адвокат сумел меня «отбить». На разводе Геннадий сказал мне: «Как мы могли жить, когда я сел тебе на шею и болтал ногами, а ты не возражала?!» Самокритичный честный парень! Он умер в 1999 году. Сегодня, вспоминая о нем, думаю, что все-таки развел нас не алкоголь, тягу к которому он не смог преодолеть, а отсутствие общих интересов. Каждый из нас жил своей жизнью.

Когда мы с Шестаковым в 1982 году развелись, Броневицкий узнал об этом и предложил начать все сначала. Вот тут-то я совершила промах, решила, что не для того уходила, чтобы вернуться. Отказала ему, а надо было вернуться. После развода я превратилась в настоящую «холостячку», которая уже не считала возможным когда-либо полюбить всерьез. Были, конечно, время от времени увлечения, но без любви. Решив, что мне не суждено обрести счастье в браке, с головой окунулась в работу. Думала, что женщины-артистки не могут быть в полной мере счастливы – и в работе, и в жизни. Так что после развода с Шестаковым уверилась, что больше никогда не выйду замуж.

Мать и дочь

После расставания со вторым мужем я пребывала в странном состоянии, с одной стороны, некоего освобождения, когда мучившие тебя отношения закончились, с другой стороны, как любая женщина, оставшаяся без мужчины, страдала. И вот тут на помощь мне пришла моя дочь. Хочу сказать особо, часто случается так, что мать и дочь достигают взаимопонимания, когда дочь вырастает и проходит все те основные жизненные этапы, что девушку делают женщиной. Именно в 20 лет, еще совсем молодая Илона, уже познавшая муки непростой любви, стала понимать мои переживания. Я вообще считаю, что любовь не может быть простой. Где вы видели простую любовь? Это же отношения между людьми, они всегда трудные! Всегда кто-то в паре должен уступать, иначе ничего не получится.

Еще когда Илона была совсем подростком и я видела, что она проявляет интерес к мальчикам, говорила ей: «Если кто понравится всерьез, приводи его домой, не надо жаться по подворотням или по парадным». Так и получилось, что, учась в институте, она привела свою тогдашнюю любовь – джазового музыканта, литовца Пятраса Герулиса, к нам домой. Я её не отговаривала, во-первых, понимала, что с Илоной такой номер не пройдет, во-вторых, по собственному опыту знала – переборoть наше фирменное пьеховское упрямство невозможно. Нужно прожить ситуацию до конца и убедиться в её несостоятельности на собственном опыте. Хотя в отношении Герулиса у меня не было каких-то особых нареканий, мужчина как мужчина. Немного смущало, что он был старше её на 10 лет, так у нас и с Броневицким тоже разница была в 6 лет!

Илона и Пятрас поженились в 1980 году. Я купила им кооперативную квартиру на Богатырском проспекте, чтобы облегчить быт: любовь не любит тесноты и дрязг. Всегда хотела, чтобы у моей дочери все было хорошо, знала, что бытовая неустроенность плохо влияет на отношения. Слишком хорошо сама помнила свои путешествия по коммунальным квартирам в начале семейной жизни с Броневицким, ночи на раскладушке в квартире его родителей. Препятствия подобного плана вносят сумятицу в чувства, так что для дочери пыталась сделать все, чтобы устранить препятствия подобного рода. Но квартира не спасла их отношения, они были очень разными, даже невзирая на рождение Стаса в августе 1981 года, разошлись, когда Стасу было 4 месяца. Может, разница в возрасте в 10 лет сыграла свою роль, может, что-то еще… Серьезный спор у Илоны с Пятрасом был

сразу после рождения Стаса: он хотел назвать сына Наполеонасом, но мне удалось убедить его, что имя Станислав будет звучать лучше. Это имя моего папы, и то, что внук носит его, для меня большое счастье.

Когда Илона расставалась с отцом Стасика, я пыталась её поддержать, хотя понимала, что она сильный человек и сможет справиться сама. После расставания с Герулисом Илона быстро пришла в себя, потому что маленький сын не дал возможности погрузиться в долгие переживания. Так получилось, что он родился болезненным, в роддоме, в «снегиревке», его заразили кишечной палочкой. Долго лежал в больнице, никак не удавалось его вытащить из всего этого. Но Господь послал нам чудесного врача, до сих пор помню её имя – Нина Ивановна Козлова, реаниматор. Она его спасла, и такой это для нас стало важной победой, что этот человек до сих пор присутствует в жизни Стаса, ходит на его концерты, они общаются. Она его очень любит, как сына. Когда он выздоровел, радость была необыкновенная, и все заморочки со здоровьем, что бывают у маленьких детишек, уже не казались чем-то страшным.

После окончания Театрального института Илона поступила в театр БУФФ, где познакомилась с музыкантом Юрием Быстровым. Позднее Юрий пришел в мой ансамбль музыкантом, он был прекрасным аранжировщиком и пианистом. В это время Илона носила под сердцем Эрику, так новая семья и творчество слились воедино. После родов у нее случилась депрессия, и как-то все было не очень хорошо. Я знала на собственном опыте, что период это трудный и надо делать все, чтобы вытащить дочь из этого состояния. Жалеть человека в такой ситуации бесполезно, и я ей сказала: «Значит так, ты разучиваешь две-три песни для выступления, худеешь на 20 килограмм и едешь со мной на гастроли». Наверное, я была довольно убедительна, дочь взяла себя в руки и выполнила программу по максимуму, мы поехали на гастроли, где отработали по полной. Спустя годы Илона говорила в каких-то интервью, что два года в моем ансамбле дали ей больше, чем институт и БУФФ, вместе взятые. Оно и понятно, работа с моим коллективом была выстроена четко, мы знали, чего хотели, и имели прекрасные возможности, а для Илоны было важно «повариться» в реальном коллективе, погрузиться полностью в живой музыкальный процесс, для любого музыканта это лучшая школа. Правда, спустя два года Илона решила, что в Москве у нее больше перспектив, и увлекла за собой Юрия Быстрова – на тот момент руководителя моего ансамбля и пианиста.

Дочь и внуки. 1986 год.

В истории со вторым браком Илоны меня радовало то, что Быстров и Стасик нашли общий язык, точнее сказать, что Стасик очень привязался к отчиму, даже считал его своим отцом, про Пятраса ничего не знал, ведь тот уехал к себе в Литву и не

проявлял вообще никакого интереса к сыну. Они не общались, знакомство состоялось лишь много лет спустя, по моей инициативе, когда Стас уже был взрослым. Но душевного продолжения у их знакомства не было, ведь у Стаса к Пятрасу никаких сыновьих чувств быть не могло, хотя сейчас он ему помогает, так как Пятрас живет очень плохо.

«Мужчина, которого люблю»

В детстве Стас много времени проводил со мной, ведь Илона хотела не только семейного счастья, для неё была важна творческая реализация, а Стасик с 3 лет жил со мной на 5-й Советской, и не только жил, но и часто ездил на гастроли, ему это нравилось. У меня была песня «Мужчина, которого я люблю». И мы придумали такой ход: сначала я пою её как будто бы о любимом человеке, а в конце, на словах «Но, что бы ни случилось, я все стерплю от этого мужчины, которого люблю» выбегал на сцену маленький Стас, в костюмчике, как у ансамблистов, с букетом цветов и давал интервью публике. «Кого ты любишь?» – «Стиви Уандера», и пел: «Ай джяс ко-о ту сей ай ла-авью». Шустрый был.

В остальное время он развлекался: играл с нашими музыкантами в разные игры, домино или что-то подобное, иногда шалил, прятал фишки, и никто не мог их найти. Иногда его «шалости» практически доводили меня до сердечного приступа, – в Биробиджане он залез на крышу высотки, пришлось вызывать пожарную бригаду, чтобы снять его оттуда. В ансамбле у нас работала Лена Амосова, мы назначили её «Мэри Поппинс», она приглядывала за Стасиком.

Концерт в Челябинске. Февраль, 1986 год.

В 7 лет у моего внука началась новая жизнь: он поступил в музыкально-хоровое училище им. Глинки. Был на хорошем счету, несколько раз даже ездил вместе с училищем в Германию, на гастроли. Я была спокойна: Стас был под присмотром и в хороших «музыкальных» руках. Приезжая с гастролей, всегда тщательно просматривала его дневник, ставила подпись, где полагалось. С учительницей Стасика мы постоянно держали связь: даже уезжая на гастроли, просила держать меня в курсе всех его дел, мне звонили из училища в любой город, если ситуация того требовала. Во время наших не столь продолжительных, как хотелось бы, встреч с удовольствием помогала ему заниматься немецким языком, он быстро понял, что от меня в этом может быть существенная помощь, и всячески этим пользовался.

Проучившись в музыкальном училище с 1 по 6 класс, Стасик вдруг сказал, что больше не хочет заниматься музыкой. Тогда мы нашли ему одну из лучших гимназий Санкт-Петербурга – академическую гимназию № 56, где он и проучился с 7 по 9

класс. Лишь спустя несколько лет к нему вернулся интерес к музыке, и мы решили закрепить его, пригласив учительницу, которая занималась со Стасом два раза в неделю. Эти уроки не прошли даром, музыка прочно вошла в круг его интересов, хотя было ясно, что его интересовала не столько советская эстрада, сколько западные исполнители. Довольно рано стало понятно, что он очень хорошо поет, в детстве выступал в хоре мальчиков, и они даже в Гамбурге записали диск, который до сих пор хранится у нас как семейная реликвия. Будучи подростком, Стас всерьез увлекся песенными композициями групп «Гражданская оборона», «Волосатое стекло», потом был период увлечения музыкой в стиле RNB, но параллельно еще пел русскую народную музыку, и у него хорошо получалось.

Когда ему исполнилось 12 лет, было решено отправить его в Америку к нашим знакомым, и ни у кого не возникло сомнения, что он может без нашего сопровождения долететь до другого континента. В аэропорту его передали из рук в руки одной из стюардесс, которая его опекала до прибытия в пункт назначения и передачи встречающей стороне, а потом и обратно. Это была не только первая самостоятельная заграничная поездка Стаса, но и погружение в новую для него языковую среду, что в те времена ещё не очень практиковалось. Несколько раз он ездил в Финляндию, каждое лето я отправляла его на месяц отдыхать, чаще всего в Адлер, Кисловодск, Ялту и не только… Ездили с ним в Карпаты, где мне для отдыха предоставили красивый двухэтажный деревянный дом. Дом стоял на горе, внизу раскинулся небольшой поселок, он бегал туда на дискотеки по вечерам, катался на лошадях, одним словом, не скучал…

Ещё со времён учебы в училище им. Глинки Стас часто приходил домой, на 5-ю Советскую, со своими друзьями. Моя помощница Вера их всех кормила, каждый раз стараясь придумать что-нибудь новое и вкусное, а, когда я возвращалась домой, Стас рассказывал об этих визитах, с гордостью передавая слова мальчишек: «Ах, какой ты счастливый, у тебя дома так хорошо, а нам не разрешают никого приводить!» Я всегда стояла на позиции, что в общении с ровесниками детям и внукам отказывать нельзя, пусть лучше они устроят посиделки дома, чем на грязных чердаках и вообще непонятно где, вдали от глаз взрослых.

Не успевала я переступить порог, как внук тут же предлагал мне помочь распаковать чемодан, он представлялся ему почти волшебным, столько всегда интересного он там находил – джинсы, жвачку, самоходные или светящиеся игрушки, не было

ни разу, чтобы, вернувшись с гастролей, я не привезла ему чего-нибудь «эдакого», безусловно, любимый внук был на первом месте. Помню, из поездки по Америке привезла я четыре компьютерных игры. Стас оживился, глазенки заблестели: «Давай, скорее, первую включим…», а я: «Подожди, Стасик, а ты при чем?» – «Так ты же мне это привезла…» – «Нет, это подарок детскому дому от одной компании». – «Как? А я?» – «Ты дружи с ребятами из детского дома, приезжай к ним, играй с ними…» В конце концов я, конечно, разрешила Стасу поиграть немного в эти игры, но потом мы все аккуратно упаковали и отвезли по назначению все четыре игры.

Меня часто спрашивают, был ли у Стаса тот самый период, когда с подростками особенно трудно? Да, был. В то время он учился в гимназии, где были дети только из благополучных семей, и в моем подшефном детском доме, где он часто бывал, ничему плохому тоже научиться не мог. Но так случилось, что в возрасте 14–15 лет внук, никогда ни в чем не знавший отказа, нашел себе друзей, которые оказали на него дурное влияние, из-под которого он самостоятельно вырваться не мог. Посоветовавшись с Илоной, которая к тому времени уже жила в Москве, я решила, что лучшим выходом из непростой ситуации будет отправить Стаса к ней, что и было сделано.

«Мамы не приходят…»

Детство Стаса стало для меня тем особенным периодом, что для любого взрослого становится серьезной школой воспитания собственных чувств. Дети меняют нас, они учат нас смотреть на мир по-новому, открывать нечто неожиданное. В моей жизни получилось так, что, когда я сама стала матерью, мне не предоставилась возможность пройти все этапы взросления моей дочери вместе с ней. Я до сих пор жалею о том, что многое в её жизни прошло мимо меня, да, профессия в этом плане забрала у меня важную часть жизни. Но она вернула мне все сторицей, когда появился Стасик. Я окунулась с головой в этот удивительный, противоречивый, оригинальный мир, мир ребенка. Стасик стал для меня тем сыном, о котором я мечтала, когда была беременна Илоной и не знала, что родится девочка. Наши желания иногда сбываются неожиданно, не так, как мы ждали, но смещение временных рамок ничуть не умаляет их ценности для нас. Итак, в пятьдесят лет я испытала все то, что было так желанно в 24 года, – мой внук Стас стал для меня испытанием, радостью и свершением. И сегодня могу с радостью признать, что именно благодаря Стасу в моей жизни свершилась важная история, связанная с детством вообще. Назовем её условно «мой детский дом».

Так получилось, что у меня дома скопилось много игрушек. Их было не просто много, а очень-очень много – целые кладовые игрушек занимали большую часть квартиры, и мы все решительно не знали, что с ними делать. Появились они, потому что в те времена цветы, как ни странно это прозвучит, было трудно достать, и зрители на мои концерты приходили с игрушками. Забавно звучит, но мне, взрослой тете, после исполнения проникновенных баллад о любви дарили плюшевых зайчиков, медвежат, уточек, самых разных кукол, пупсиков и прочую игрушечную прелесть. Так мои почитатели обеспечивали не иссякающий запас игрушек для моей дочери, а потом и для внука. В чем-чем, а в этом у них недостатка не было. Настал момент, когда стало понятно – с этим надо что-то делать. А игрушки были хорошие, не китайские, как сейчас, качественные. Собрала я их в огромный мешок, как заправский Дед Мороз, и стала думать: кого бы ими осчастливить. Сделала просто, по старинке: открыла телефонный справочник на букву «Д» – детские дома – и выбрала заветное число, мое любимое «53»: в Польше я жила на улице Первого мая, дом 53. Так выбрала Ленинградский детский дом № 53. Тогда Стасик очень обрадовался этой идее, закричал: «Я

хочу поехать с тобой, отдать свои игрушки детям…» Было это в 1987 году…

Созвонилась с директором детского дома, Ниной Вячеславовной Чувашовой, – скажу наперед, знакомство с этим человеком позже вышло за рамки нашего сотрудничества по детскому дому и переросло в отношения личные. Так и сказала: «Добрый день, мои поклонники дарили и дарят мне много очень хороших, качественных игрушек, мне хотелось бы преподнести их в дар вашему детскому дому…» На полученное согласие отреагировала с волнением, мое собственное трудное детство, наполненное болью потерь, ужасом войны и ощущения сиротства, в какой-то степени сближало меня с детишками, волею судьбы оставшимися без родителей. И мне, как никому другому, были понятны те чувства, что они все испытывали, будучи брошенными. Я знала, как важно дать им немного тепла, скрасить их одиночество. Перед встречей заказала в кафе огромный торт, накупила сладостей и поехала. Первое впечатление стало шоком, показалось, будто мне обручем сдавили горло, – меня со всех сторон обступили дети, много детей, они ничего не просили, но в их глазах было лишь одно – МАМА! Сперва я почувствовала, что они как будто чего-то ждут: не игрушек и сладостей, они хотели понять – к кому из них я пришла. Некоторые подходили и прямо спрашивали: «Вы моя мама?» или «Вы не знаете, когда придет моя мама?». Разве это можно вынести? Тягостное ощущение. Я пришла с подарками, а они ждали не их. Они ждали самого дорогого, чего у них не было, и вот как раз этого я не могла им дать. Потом мне сказали, что во всем детском доме лишь десять сирот, а остальные сироты при живых родителях. Это стало для меня настоящим шоком – их родителей лишили родительских прав.

Потом, спустя время, поняла: мне судьбой было уготовано переступить порог детского дома, а переступив его, не смогла туда не вернуться. С первых же минут, едва я увидела эти грустные детские глаза, мне захотелось помочь им – и не кому-то одному, а всем сразу, хоть чем-то. Всем, что в моих силах. В то время было не как сейчас, многое нельзя было купить, но можно было «достать», а для этого нужны были связи или имя. Я знала, что с помощью своего имени смогу сделать многое, знала, есть серьезные люди, которые меня знают, помнят и уважают, я пользовалась этим «в мирных целях». Бывало по-разному: кто-то откликался сразу, кого-то приходилось «доводить до кондиции». Помню, долго «мучила» директора завода, где выпускали микроавтобусы, все просила, чтобы выделил машину для детдома – возить малышей к врачам, на прогулки, в город на всякие мероприятия. Он упирался, отнекивался, говорил «нет такой

возможности», находил каждый раз новые отговорки. Поняв, что так не получается, пошла другим путем: улучив момент, подкараулила его в обкоме партии – с тем же, и, представьте себе, сработало, детдом получил машину.

Однажды вообще получилось забавно – пела я за… батареи парового отопления в количестве 250 штук, они были очень нужны. Вот и получалось, что своим именем я открывала плотно закрытые двери, находила необходимое, убеждала чиновников быть добрыми. Так и получалось, приходила, говорила: «Здравствуйте, я – Пьеха, ситуация такая…», – и чаще всего люди откликались, и многие из них занимали очень высокие посты. Я видела, что им нравится помогать, добро делать всегда приятно. Фраза «Здравствуйте! Я – Пьеха» стала кодовой – с её помощью я доставала все необходимое для ребятишек – обувь, одежду, стройматериалы, билеты в театр, стиральные машины и много других полезных вещей. Не помню ни разу, чтобы нам отказали. Мне удалось так устроить, что для моих детдомовских детишек была организована бронь на 20 билетов на каждую премьеру. Удалось договориться с Гостиным двором, который отпускал одежду по безналичке и одевал ребят. «Скороход» шил сапожки по спецзаказу девочкам-старшеклассницам, гостиница «Прибалтийская» безвозмездно передавала одеяла и мебель, из Германии, Америки я привозила гуманитарную помощь.

А еще помню, ехала как-то в поезде и увидела загруженное микроволновыми печками купе проводника. Подкараулила и разговорилась с предпринимателем. «Вы хотите купить?» – поинтересовался он. «Нет, хочу выпросить». – «Как?» – «Да у меня друзья в детском доме, им надо делать ремонт, а расплачиваться нечем. Подарите им 10 печек». И что вы думаете, он подарил! А ведь в то время они были редкостью и стоили очень дорого. Так благодаря хорошим людям и моему участию удавалось помочь детям.

Нина Вячеславовна на личном примере знала, что такое трудная семья, и могла понять боль детишек, оставшихся без родителей. Мне всегда нравилось, как она ловко и умело решала постоянные проблемы, что возникали в её учреждении. Детский дом – это сложный экономический организм, со своими законами, особенностями и, к сожалению, несчастьями. Руководить столь сложным миром мог только человек хозяйственный, сильный и добрый. Жизнь в детдоме подчинялась одному принципу: все должно быть как дома – никакого строя, команд, ни одного платья одинакового. У девочек-старшеклассниц – маникюрные наборы, дезодоранты, косметика. Правда, на это не было специальных статей расхода, но выход был найден – создали

денежный фонд из пожертвований жильцов района, шефов, районное начальство, к счастью, не оказались бюрократами: дали разрешение. Таким образом решена была проблема с наличными деньгами для воспитанников.

Конечно, среди общего числа детей оказались те, чьи жизненные истории воспринимались как личные, очень близко к сердцу. Одна из них – история Усмана, афроамериканского мальчика, он был «плодом любви» гвинейца и нашей неустроенной женщины без определенных занятий. В детдом попал в возрасте семи лет, считался «трудным ребенком», среди сверстников ему было непросто, над ним насмехались, конечно, в основном из-за цвета кожи, почему-то он считал, что ему не нужна учеба, и часто говорил мне: «Зачем мне математика, я буду танцором и певцом». Нам удалось через посольство отыскать его отца в Гвинее, который согласился взять мальчика к себе. Все бы хорошо, но Усману не давали визу. Пришлось мне поехать в Москву к гвинейскому послу и на польско-русско-французском объяснить ему, у мальчика должен быть отец, более того, отец есть, но нет возможности приехать к нему. В итоге мне удалось убедить «черного принца» в необходимости визы. И когда она пришла, мы отправили Уан-Усмана на родину, к его отцу. Уезжая, он попросил дать ему с собой записи моих песен, а у меня осталось написанное им письмо. Через какое-то время он вернулся в Россию, к сожалению, у него сложилась непростая судьба, – сегодня он в инвалидной коляске, его сбила машина, – но мы до сих пор на связи, несколько раз он приезжал на мои концерты.

Еще одна история, но, слава богу, счастливая – про Ирочку. Еще в грудном возрасте у нее возникла проблема с рукой, а родители-алкоголики даже не обратили на это внимания, заметили это, только когда она оказалась в детдоме. Выяснилось, что ручку можно «починить», но нужна дорогая и трудная операция. Для меня это стало сигналом к действию – пришлось обзванивать множество клиник, чтобы наконец найти ту, где есть чудо-хирург, способный такую операцию сделать. Мы добились своего, операцию сделали, и теперь Ирочка здорова. На одном из моих концертов она поднималась на сцену с цветами, и я увидела абсолютно полноценную женщину, которая смогла осуществить свою мечту – стать портнихой.

Хотя бывали в моем подшефном детдоме разные истории, что вполне понятно: все его обитатели – ребятишки с трудными характерами и травмированной психикой. Поэтому случалось всякое. Когда моему Стасику было 9 лет, я взяла из детского дома на летние каникулы мальчика Дениса и отправила их вместе

сначала к друзьям в Карпаты, а затем на дачу под Ленинград. Денис прекрасный мальчишка, трудолюбивый, добрый, отзывчивый. Мне казалось, что не только ему будет хорошо у нас, но и мой внук чему-то научится у Дениса. Все было прекрасно, мальчишки сдружились, вместе купались, играли, хозяйничали по дому. И, конечно же, я не считалась с затратами… Как-то в воскресный день к нам приезжает Нина Вячеславовна и привозит в подарок бананы, рассказывает, что детский дом получил несколько коробок и ребята сейчас лакомятся этими экзотическими фруктами. А долю Дениса она привезла сюда. Мальчишки налетели на фрукты, и вдруг: «А почему Стасик ест мои бананы?» Меня это так потрясло, что я даже расплакалась, начала Стасу говорить: «Не тронь бананы, я тебе куплю». Внук оказался умнее меня, он просто сказал: «Он же мою жевательную резинку все лето жует…» В этот день я еще раз поняла, как трудно бывает детям даже на добро ответить добром, тем более детям, которые видели много зла. И как бы Денис ни был хорош, среда, в которой прошло его детство, нет-нет да и прорвется в характере жадностью, озлобленностью. Поэтому такому ребенку нужен только порядочный, умный и опытный педагог.

10 лет я опекала воспитанников этого детского дома. Это не могло пройти бесследно для меня, и в моем репертуаре появилась песня с названием «Мама не приходит», когда песня звучала на концертах, люди в зале плакали, но я пела её не для того, чтобы разжалобить людей, а чтобы напомнить, что детский дом, даже самый лучший, не может заменить ребенку семью, маму и папу.

Прошлое возвращается

В 1982 году я отмечала 25-летие своей артистической деятельности и 45-летие на сцене БКЗ «Октябрьский». Пригласила Броневицкого с его новой женой Романовской и по совместительству новой солисткой «Дружбы». Но мне говорили часто, что не ладится у Сан Саныча с ней, кажется, когда я её увидела, поняла почему, но ему говорить не стала. Концерт прошел хорошо, после чего я удивилась – он зашел ко мне за кулисы и сказал: «Да, я не зря на тебя потратил время». Для меня это была самая большая его похвала и большая редкость. Что делать, он был таким человеком, что отнюдь не умаляло его достоинств.

Но если Сан Саныч вдруг расщедрился на комплименты, то Романовская довольно тяжело перенесла концерт и даже не пыталась скрыть свою ревность ко мне. Знакомые потом рассказывали, что, сидя в зале, она все время шептала Броневицкому на ухо: «Твоя Пьеха под фонограмму поет». Сан Саныч в конце концов не выдержал, осадил её: «Да замолчи ты!»

Когда выступление закончилось, Романовская пришла ко мне в гримёрку и, наблюдая, как я снимаю грим, вдруг спросила: «Почему я не могу быть такой же, как вы?» – «Потому что вы опоздали, – ответила я. – Мой приход на эстраду совпал с моим временем, и я оказалась нужной, а вы такая, как многие». Ей это ужасно не понравилось. Тогда, посмотрев на нее и на Броневицкого, я вдруг поняла, как ему не повезло. Моя догадка нашла подтверждение в любопытном эпизоде, который случился в Сочи. Туда я приехала уже с внуком Стасом, у меня были гастроли, идем по улице, и вдруг навстречу Сан Саныч: «О, привет». – «Привет». – «Знаешь, что тебе скажу, только не подумай плохо: у меня нет денег, она мне не дает, угости коньячком». – Так он про свою новую жену говорил. Я удивилась: «Как – не дает? У тебя же всегда были деньги. Шура, на тебя это не похоже». – «Ну, угости коньячком». – Угостила.

Потом я узнала, что она у него все деньги забирала. Так и получилось, что было время, когда он был жесток со мной, но эта жестокость проистекала из его желания сделать из меня настоящую Артистку. Он добился этого, а его вторая жена была с ним жестока как с мужчиной, чего он абсолютно не заслуживал. Так получилось, что он связал свою судьбу с женщиной, которая, скорее всего, его просто не любила.

После встречи с Броневицким в Сочи во мне все всколыхнулось. Меня смогут понять только те, кто сам испытал

на себе столь долгий брак. Длительные отношения обладают удивительной магией, особенно когда тебя с человеком связывает не только быт, но и творчество, когда ты в связке с ним постоянно что-то преодолеваешь, спотыкаешься, побеждаешь, проигрываешь, разочаровываешься, но потом снова обретаешь надежду. И так много, много лет. И наступает день, когда ты смотришь на мужчину напротив себя, которого называешь мужем, и понимаешь, что смотришься в него почти как в зеркало, что он стал настолько частью тебя, настолько в тебя пророс, как дерево, что ты не понимаешь, где кончается он и начинаешься ты.

Я часто думала обо всем этом, пыталась понять, почему так происходит. Осознавала, как мне жаль моего первого и единственного по-настоящему мужа – Александра Александровича Броневицкого. Ему досталась трудная судьба, он родился не под той звездой. Тогда большой силой был Союз композиторов, в который его не принимали, они вместе учились с Андреем Петровым, и не только, с другими музыкантами, которые потом получили всякие звания, стали членами Союза композиторов, и никто за него ни разу не заступился. Ему ведь и звания никакого так и не дали. Завистников было много, недоброжелателей.

А он был не только талантливым музыкантом: прекрасно рисовал, лепил, вырезал по дереву. Часто наблюдала, как он любил что-то делать руками, когда приезжал к родителям на хутор, который Александр Семенович, его отец, купил для своей семьи. Там был чудесный сад, воздух чудесный, прекрасные продукты, натуральные. Там Илона выросла, брат Сан Саныча – Женя. Эльза Гансовна, мама Эрики Карловны, имела корову, вот Илонка на этом молочке и выросла. В доме семь комнат, потом хозяева этого хутора вернулись из Сибири, и хутор пришлось вернуть им. Хотя Женя пытался доказать, что его семья заплатила за этот хутор большие по тем временам деньги, но ему не удалось отстоять дом.

Много чего вспоминалось, все было: и любовь, и обиды. И хотя мой главный принцип в жизни – «помню только хорошее», но иногда нет-нет да вспомню что-то особенно болезненное. Сан Саныч был непростым человеком, замкнутым на себе, нечутким. Например, у меня часто поднималась температура, или от волнения, или когда болела, простужалась. Лежу, чувствую, ползет температура вверх, мне плохо, говорю ему: «Шура, у меня температура, надо вызвать «Скорую», а он удивленно так: «Тебе плохо? Ты же вроде нормальная?», и мне приходилось делать все самой. Он не понимал ничего, что происходило с другими людьми, был как будто покрыт броней.

И все-таки сегодня я понимаю: это моя большая ошибка, что я ушла от него, а ведь могла быть его щитом, вот и считаю, что виновата как женщина – у меня не хватило терпения, мудрости. Тогда казалось, что вся его ревность просто невыносима. И действительно, происходили иногда совершенно дикие случаи. Например, Валерий Генде-Роте, он часто делал со мной, как сегодня говорят, фотосессии. Вот мы уходим куда-нибудь на улицу, он меня снимает на фоне города. Возвращаюсь через несколько часов. Броневицкий: «Где ты была, что у вас с ним?» – «Да мы просто снимались». – «Неправда, он на тебя так смотрит, у вас явно что-то было». Мне говорили друзья: «Это он тебя так любит, так выражается его любовь». Но ведь когда он женился второй раз, свою жену он так не ревновал, как меня. Я ходила в исполком, чтобы после нашего развода ему дали квартиру, мне не хотелось разменивать квартиру на 5-й Советской, я вложила в нее всю душу, все силы, сделала там прекрасный ремонт. По сути, из трущобы, какой она была, превратила её в красивую трехкомнатную квартиру, хотя в ней сейчас не живу. Я выхлопотала ему квартиру в Гавани, и он там со своей Романовской жил.

Да, многое у нас с Броневицким не случилось именно так, как мне того хотелось. Может, свою роль сыграло то, что он был на шесть лет меня старше, да и такому мужчине сложно сказать: цыц, ты должен быть другим… И еще он никогда никому не прощал ни одной ошибки. С этим было трудно жить. Но память о Сан Саныче никогда не умрет во мне, потому что он сделал очень много для меня, он подарил мне Судьбу, и вспоминаю я о нем всегда с благодарностью. Меня до сих пор мучает воспоминание о том, что я ему сказала во время нашего разрыва. Услышав от него что-то нелестное, не со злости, но от напряжения вдруг произнесла страшные слова: «Ты встретишь женщину намного моложе себя, или ты её уже встретил. Ты влюбишься в нее, или ты в нее уже влюбился, и она отомстит тебе за меня, она будет тебе изменять, и ты не сможешь этого вынести». Как оказалось потом, напророчила – через двенадцать лет так и случилось.

Прощай, моя любовь

У Сан Саныча были слабые сосуды и жуткие вены на ногах – варикоз. Когда мы жили вместе, у него всегда с собой была маленькая фляжка коньячка – для расширения сосудов: если чувствовал, что-то не в порядке – сразу глоток делал. 12 апреля 1988 года, во время гастролей в Нальчике его жена Романовская ушла из их совместного номера ночью и, как потом выяснилось, закрыла его на ключ. Шуре тогда было 57. А наутро, вернувшись, нашла его мертвым, он лежал с телефонной трубкой в руках у дверей. Инсульт. Возможно, если бы я была рядом, то смогла бы ему помочь, а его вторая жена об этом не думала, её даже не оказалось рядом. Ушел Александр Александрович Броневицкий 13 апреля 1988 года. Мы узнали о его смерти от жены брата Евгения – Любы, она позвонила и сказала: «Шура умер…»

Панихида состоялась в Ленинградском Театре эстрады. Для его мамы, Эрики Карловны, пережить сына оказалось страшным ударом, это вообще страшно, когда дети уходят раньше родителей. На похоронах, помню, Илонка, Эрика Карловна и я стояли в сторонке, а его жена бросалась на гроб, кричала: «Откройте мне крышку, я хочу попрощаться!» Гроб открывать было нельзя, и она это прекрасно знала. После похорон мужа она довольно быстро вышла замуж за какого-то немца и уехала, но это не важно, я никому не судья… Илона заказала отцу красивый памятник из чёрного гранита – руки пианиста из бронзы держали голубя. Бронзу вскоре украли…

В первую годовщину его смерти в 1989 году в БКЗ «Октябрьский» я организовала и провела вечер памяти Сан Саныча, назвав его «Творческий вечер композитора А.Броневицкого». Мне звонили и говорили: «Ты что – с ума сошла? Он же не был членом Союза композиторов, какой творческий вечер?!» Я отвечала: «Это он для вас не был, а для меня и народа – был!» Формально это действительно было традицией того времени – творческий вечер был привилегией композитора, являющегося членом Союза композиторов, но я считаю, что его талант был достоин такого вечера, а все эти звания и союзы – простая формальность.

Владимир Петрович Поляков

В мае 1993 года я участвовала в одном из сборных концертов в ГКЗ «Россия». После выступления за кулисами ко мне подошел директор концертного зала и сказал: «В правительственной ложе находится руководитель администрации президента со своим помощником, они приглашают вас на фужер шампанского». Хотела отказаться, но решила, что это будет выглядеть глупо. В ложе меня посадили рядом с каким-то человеком, он смотрел на меня точно загипнотизированный, не отрывая глаз. «Что вы на меня так смотрите? – не выдержав этого взгляда, спросила я. – Мы знакомы?» Тут мой незнакомый сосед и говорит: «Нет. Но знаете, вы мне давно нравитесь. В 61-м году я взял у вас автограф, который храню до сих пор. Это была моя инициатива вас пригласить, я очень хотел с вами познакомиться». Тогда я узнала, что его зовут Владимир Петрович Поляков. Мы пили шампанское, беседовали, как это принято, ничего особенного, поговорили, и я уехала. На этом первое знакомство и закончилось.

Чуть позже я попала на лечение в клинико-диагностический центр, где мне делали блокаду по поводу остеохондроза – он у меня очень «колючий» и нередко бывают обострения. Понадобилось французское лекарство для инъекций. Никто не мог его достать. И тогда я вспомнила о новом знакомом. Позвонила ему, и в течение недели это лекарство прибыло ко мне из Австрии. Тогда я даже не предполагала, что познакомилась со своим будущим третьим мужем.

Однажды, в первые месяцы нашего знакомства, он пригласил меня в грузинский ресторан «Иберия», пришли, но я ничего не смогла там есть: все было такое острое, будто вместо яств лежали ножи и кинжалы. Владимир Петрович заметно смутился. После женитьбы, в минуты, когда я сердилась на мужа, говорила: «Слушай, Володя, иди ты в «Иберию»!», такой забавный эпизод.

После того как он помог мне с французским лекарством, мы стали перезваниваться. У нас завязался настоящий телефонный роман, который длился более года. Разговаривали о музыке, песнях, событиях в двух столицах. В телефонных беседах он был очень деликатен, вежлив и всегда жизнерадостен, а затем стал меня удивлять. Например, у меня концерт где-то в Сибири, и вдруг мне преподносят цветы от Владимира Петровича! Подумать только, чуть ли не за полярным кругом, я преувеличиваю, конечно, но очень далеко от Москвы, цветы от Владимира Петровича! Мне преподносили цветы от него в Ленинграде, в

Таллине, в Киеве… И вы знаете, мне тогда так понравилось, что в наш непростой век, когда все обесценивается, настоящие мужчины все-таки остались. Мы по-прежнему были с ним на «вы», и в этом тоже была какая-то особая прелесть, – признак уважения со стороны мужчины. Но однажды Владимир Петрович позвонил в 7 утра, и я спросонья сказала: «Почему ты звонишь так рано?» И слышу в ответ: «Вот-вот, теперь уже лучше!» Так мы перешли на «ты».

После этого мы сблизились. Особенно вспоминается несколько эпизодов из периода, когда у меня были гастроли в Ростове, откуда родом был Поляков. Он взял военный вертолет, и полетели туда, где покоилась его мама, куда-то в отдаленные районы, на станцию Мачевская, это где-то в 250 км от самого Ростова. Пришли мы на могилу, стоим, и тут во мне вдруг все перевернулось, видимо, на лице все отразилось, потому что Поляков на меня смотрит и спрашивает: «Эдита, что происходит?» А я смотрю на дату на памятнике и понимаю, что дата рождения – 15 октября – это дата рождения моей мамы. А его маму, кстати, звали Феодосия, мою – Фелиция. Мало того что имена похожи, так еще и цифровая магия. Да, и так я тогда поверила, что это настоящий знак, подумала: наши мамы на небесах встретились и решили дать нам «добро» на наш союз.

Как мы пришли к мысли о регистрации отношений? Опять же, это произошло неожиданно. Когда очередной раз я приехала в Москву, во время нашей встречи вдруг сказала: «Наверное, мне суждено третий раз выйти замуж». Пошутила, а он и говорит: «А я как раз тебе хотел предложение сделать». Честно говоря, я не верила, что еще смогу быть чьей-то женой, но мы все-таки решили пожениться.

У нас не было пышной свадьбы, тихо сходили в ЗАГС 31 августа 1994 года, чуть ли не тайком. Помню, шел дождь, и на этот раз у меня не было красивого свадебного платья. С моей стороны присутствовал внук Стасик, я его в шутку называла свидетелем, хотя ему было всего 13 лет. Владимир Петрович тогда подарил мне золотой медальон в форме сердечка. После оформления брака он сказал: «А давай поедем в Израиль, отдохнем…» И уже на следующий день я проснулась в Тель-Авиве, в номере для новобрачных. И представляете, открываю глаза, смотрю в окно и спрашиваю: «Концерт сегодня есть?» И мой муж мне отвечает: «Забудь об этом, мы приехали отдыхать». Только в тот момент осознала, что за много лет не была в нормальном отпуске ни разу.

Но все хорошее заканчивается быстро, закончилась и наша «медовая неделя». Каждый из нас вернулся в свой город, он в

Москву, я в Петербург. Да, мы решили, что никто из нас не будет ради другого менять место жительства. У Владимира была ответственная работа, которую он не мог оставить, и я совсем не горела желанием перебираться в Москву. Так мы стали жить на два города. Хотя впоследствии Поляков неоднократно пытался уговорить меня переехать к нему, в его двухкомнатную квартиру на Рублевском шоссе, но для меня это оказалось невозможным. Я объяснила ему, что мне, как почти коренной ленинградке, будет невыносимо жить в городе, с которым меня ничто не связывает. А в Ленинграде – друзья, парикмахер, Верочка, с которой у нас полное взаимопонимание. Любимые места, парки, сады, знакомые маршруты для прогулок, магазинчики, в которые любила заходить под вечер и всегда знала, что для меня приготовлено то, что я обычно беру. И куда я безо всего это? Не говоря уже о том, что там же, в Ленинграде, осталась бы коллекция моих платьев и много-много всего.

Мы неоднократно возвращались к этому разговору. И однажды я ему сказала, что в Москве я просто не буду знать, куда себя деть: он уходил на работу к 8 утра, а я что должна делать – сидеть у окна и ждать его? Работа у него непростая, он приходил бы вечерами, запирался бы в своей комнате, и что? Мне удалось убедить Владимира Петровича, что мой переезд будет ошибкой. Так что мы общались по выходным – или он прилетал ко мне, или я ехала к нему. В нашем «гостевом» браке было что-то интересное, я читала одно исследование на эту тему, в нем говорилось, что подобный брак вполне может состояться, если супруги люди мудрые, зрелые, так сказать. С одной стороны, они не надоедают друг другу, с другой – всегда имеют возможность воссоединиться. И первое время мне казалось, что у меня есть все шансы стать счастливой в третьем браке. Хотелось наконец почувствовать себя женщиной, которую не обошло то самое пресловутое «личное счастье». Я настолько убедила себя, что смогу стать хорошей женой, что даже впервые взяла себе фамилию мужа и стала Пьеха-Полякова. Мне нравилась жизнь, которой я живу. Моя взрослая дочь в то время, как и я, полюбила в третий раз, и мне было радостно видеть, что у нее все хорошо. Мы стали лучше понимать друг друга, а я перестала относиться к ней с позиции старшей, обсуждали наши дела на равных и прекрасно понимали друг друга. Вот оно, долгожданное счастье: моя дочь рядом, мои внуки выросли, и с ними тоже полное взаимопонимание, обо мне заботится любимый человек…

Возник момент, когда Владимир Петрович стал сочинять песни и дарить их мне, чем, признаться, немало меня впечатлил. Одно время я в шутку ему говорила: «Интересно, если бы ты

женился на Майе Плисецкой, стал бы танцевать в Большом театре?» Самой любимой из них была «Я хочу всю жизнь начать сначала» на стихи Якова Дубровина. Я даже приняла её как свой жизненный девиз! Но композиторский дар мужа оказался иллюзией: спустя время я узнала, что на самом деле мой супруг не сочинял песни, а покупал их у композитора Федоркова Александра Степановича. На людях он выдавал себя за моего композитора, хотел занять место Александра Александровича Броневицкого. Для меня это стало жутким ударом, столь откровенная ложь с его стороны была оскорблением памяти Броневицкого, который действительно сочинял для меня песни, и какие!!!

Поляков в какой-то момент решил, что если есть деньги, то все дозволено. Мое мнение с его не совпадало. Когда все созданные им мифы вышли наружу, я пришла в ужас и не смогла с этим жить. А ведь было время, когда он уговаривал меня повенчаться и провести эту церемонию аккурат накануне моего 60-летия, которое совпадало с 40-летием творческой деятельности. Мы даже придумали сценарий, как можно совместить эти два события – венчание в костеле и юбилейный концерт в БКЗ «Октябрьский». Все продумали, как я прямо из костела дойду до БКЗ и начну концерт, но вскоре эту идею мы отвергли, потому что было в ней что-то искусственное: моим чутким зрителям могло показаться, что мое венчание – некий актерский ход, даже фарс. Поэтому чуть ли не в последний момент венчание было отменено. И как-то само собой получилось, что наши встречи с Владимиром Петровичем становились все реже и реже.

Расстались мы немного странно. Произошло это летом 2003 года. Предшествовало этому «знамение судьбы». Некоторое время назад Поляков подарил мне среднеазиатскую овчарку, назвали мы её Джулией. Собака была сильная и далеко не всегда послушная. Я вышла с ней на прогулку, а у Джулии было больное сердце, поэтому иногда ей нужны были передышки. И вот она легла на асфальт, чтобы отдохнуть, а я присела рядом с ней. В этот момент к нам подскочила другая собака – хотела поиграть, и Джулия, отмахиваясь от нее, со всей силы мотнула головой и попала по моей коленке. А собачка-то была не мелкая, голова у нее дай бог, так она одним ударом раздробила мне коленный сустав. Я не астроном, но в этот момент увидела все звезды!

А дальше, как в любимом фильме: «очнулась – гипс», сижу дома, загипсованная, приезжает из Москвы Владимир Петрович и идет гулять с Джулией. И опять что-то невероятное происходит: Джулия вновь дергает поводок, результатом чего становится

перелом ключицы у моего мужа. То ли это на него произвело сильное впечатление, то ли еще что-то, но, вернувшись домой из больницы, он молча сложил вещи и уехал в Москву. Как потом оказалось, навсегда. Я была в шоке. Нельзя сказать, что мы сильно ссорились, конфликтовали, нет, просто разбежались. Наверное, мы слишком разные люди. Он сделал много хорошего для меня, тем не менее два несовместимых существа не могут быть рядом бесконечно долго. Зачем мучить друг друга? Так завершился мой третий брак.

Да, «женское счастье» оказалось довольно трудным делом, мне катастрофически не везло с мужчинами, даже с теми, кто казался близкими людьми. Очередной раз расходясь с кем-нибудь, я спрашивала себя: почему так? Есть ли моя вина в том, что отношения не складываются, а если даже складываются, то не длятся долго? Что меня разводит с теми, кого, казалось, искренне любила? Может, все дело было в том, что непростая жизнь сформировала столь же непростой, серьезный характер? Или моя работа, не дававшая расслабиться ни на мгновение, приучила принимать решения самостоятельно, не надеясь ни на кого, а мужчинам это не нравилось – моя независимость оскорбляла их, унижала их достоинство. Они ведь были людьми той эпохи, когда женщина всецело находилась во власти мужа, а тут рядом какая-то чудачка, которая поет, на жизнь зарабатывает, ничего не просит и очень даже неплохо живет.

На самом деле все просто: я маленький человечек, который осиротел в четыре года и осознал, что ему в этой жизни надеяться не на кого и он должен быть сильным, как дерево в пустыне, которому недостаточно воды, но оно должно выстоять. И я выстояла. Вся моя жизнь была борьба. А равноправие? Я где-то вычитала такой афоризм: «Что дало равноправие женщинам? То, что мужчины сняли с себя обязанность заботиться о женщинах». Это ужасная штука. Против природы идти нельзя. Женщина должна оставаться женщиной, а мужчина – это тот, кто должен создать и обеспечивать семью. Должен посадить дерево, построить дом, а потом привести туда хозяйку – любимую женщину и продолжить человеческий род. Но это не значит, что женщина должна быть домохозяйкой. Она имеет право быть эрудированной, умной, целеустремленной, заканчивать университеты, в любом случае, она должна быть умнее гувернанток, которые будут заниматься её детьми.

С годами я все-таки нашла причину многократных расхождений с мужчинами: чтобы быть счастливой, мне нужно было многим поступиться, на многое закрыть глаза и в чем-то

изменить себе. Я так и не научилась «быть женой», в том смысле, что принадлежать кому-то кроме себя самой. В этом смысле мне близки слова Барбары Стрэйзанд: «Никто не хочет быть моим мужем, все хотят, чтобы я была чьей-то женой».

Каждый раз, выходя замуж, я видела, что мои мужья расстраиваются, когда видят, что мной восхищался еще кто-то, они хотели, чтобы я только им нравилась. Чужой успех раздражает, даже если он у близких. Быть мужем артистки, которую любит публика, очень трудно, это задевает мужское самолюбие, поэтому, пока я артистка, о женском счастье мечтать не приходится, и я всегда думала, что наступит тот день, когда я упакую свои концертные платья в чемоданы, сложу их на антресоли, наберу номер телефона, которого еще не знаю, и спою: «Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу». В общем, я позвоню этому самому лучшему человеку на свете, и, может быть, он объявится и будет обо мне заботиться. Тогда я уже буду не артисткой и можно будет стать просто чьей-то женой. Но годы летят, я продолжаю хранить верность сцене, и никто из моих мужчин не стал таким, как мне хотелось, а тем более – таким, как Броневицкий или лучше его. Женская логика ввела меня в заблуждение. Элизабет Тейлор восемь раз выходила замуж, каждый раз думая, что нашла счастье. Я трижды была замужем, думала, что смогу любить другого. Нет, после Броневицкого нельзя было любить кого-то. Я придумывала себе влюблённости и тем самым сократила жизнь дорогого человека. Он двадцать лет был моим мужем, но кроме этого он был моим руководителем, наставником. Все, что касалось лично меня, для него всегда было на втором плане, как и для меня, после сцены, но он подготовил меня к жизни, закалил, научил быть требовательнее к себе. Подарил дочь, но не смог вместе со мной порадоваться внукам и даже правнукам… увидеть всё, что меня сейчас окружает. Посидеть вместе со мной под шатром в «соловьиной роще» и составить программу моего юбилейного концерта, вспомнив наши песни, то, как мы были влюблены друг в друга без памяти, но просто не знали, что это называется любовью. Душой и сердцем мы были вместе. Но только сейчас я понимаю, какое это было огромное счастье. Других мужей не было, это были просто ошибки.

Сегодня, с высоты прожитых лет, я понимаю, как мне повезло: у меня была большая, красивая любовь с уникальным, одаренным человеком – Александром Броневицким. А талантливый человек – это всегда трудно. После него в меня в основном влюблялись как в артистку Пьеху. Я же хотела, чтобы во мне видели женщину…

В поисках новой Пьехи

Еще на философском факультете я научилась понимать, что во всем, что бы ни происходило, виновата я. Не бывает плохой публики, не бывает плохого человека. Значит, ты его плохо разглядела. Я научилась оценивать себя со стороны, докапываться до своих ошибок. Поняла, что смысл жизни в том, чтобы помнить именно хорошее. Благодаря этому ты становишься оптимистом, благодаря этому ты идешь по жизни с улыбкой, а не уныло под гнетом неудач. Неудачи – вон! Их нет, – есть только удачи и впереди еще какая-то звездочка, которая говорит: иди ко мне, я тебе покажу дорогу дальше. Начиналась новая страница моей профессиональной биографии. После расставания с А. Броневицким я пригласила к себе директора Ленконцерта, не знаю даже, откуда у меня, абсолютно лишенной практической жилки, возникла такая мысль… «Кирилл Павлович, – поставила я его в известность, – мой уход из «Дружбы» – дело решенное. Вы можете объявить музыкантам (я не имею такого права!), что, если кто-то из них хочет уйти от Броневицкого, вы разрешаете?» И он разрешил: со мной в новое плавание ушли девять музыкантов.

Да, я осознавала, что все будет очень непросто, но мне повезло: рядом со мной оказались не только профессионалы, но и хорошие люди. В этом плане хочу назвать имя, которое для меня дорого, потому что этот человек был со мной в очень трудные годы и сегодня он рядом. Владимир Калле.

Он застал период распада «Дружбы», все это происходило на его глазах, поэтому он понимал, как это все тяжело для меня. После того как я ушла от Броневицкого, мы три месяца с Володей и несколькими музыкантами, что ушли со мной, подбирали новых участников ансамбля. Так, благодаря Владимиру Калле, у нас появились: ударник Стас Стрельцов, гитарист Толя Савченко, радист Александр Калле, пианист Игорь Антипов, вокалист Михаил Васильев. Когда ансамбль был полностью сформирован, началась работа над репертуаром: нужно было восстановить все песни со слуха, без нот, сделать новые аранжировки, чем и занимался Володя – адская работа. Это только когда сидишь в зале и смотришь на сцену, кажется, что все легко, за кадром остаются пот и кровь, ежедневные, изнуряющие репетиции, личные конфликты, чьи-то амбиции, недоговоренности, обиды, стремления. Мы не выползали из репетиционного зала по 8–10 часов. Облегчало эту работу то, что за мной осталась профессиональная аппаратура «Динаккорд», она помогла нам сделать качественные фонограммы, чтобы потом на них положить

голос. И через три месяца репетиций мы в новом составе выступали в Перми. Это были мои первые самостоятельные гастроли, на афише значилось: «Эдита Пьеха и её ансамбль».

«Да здравствует бал!»
Аничков дворец, 1992 год

Владимир Калле поначалу был и.о. музыкального руководителя нашего ансамбля, но ему все время казалось, что нам не хватает сильного пианиста, человека известного в ленконцертовских кругах, так возникла кандидатура Григория Клеймица. Он, к сожалению, не был композитором, песен не писал, но проявил себя талантливо именно как руководитель.

Для нашего молодого коллектива сделал очень много хорошего. Его консерваторское образование, тонкое музыкальное чутье было большим подспорьем.

Еще помогало то, что у меня был хороший опыт администраторской работы в «Дружбе», когда на мне лежали многие заботы. Я ходила к министру культуры Фурцевой выбивать аппаратуру для коллектива, деньги на костюмы, являлась на худсоветы и убеждала всех, что у нас замечательная программа, я могла зайти в кабинет большого чиновника, чтобы вместе с ним решить любые творческие или бытовые проблемы.

И все-таки я долгое время оставалась недовольна собой. Когда ушла из «Дружбы», можно сказать, потеряла себя. В какой-то момент вдруг с ужасом поняла, что живу только легендой о Пьехе. Публика ходит на мои концерты и думает: «Ну-ка, Пьеха, переоденься, спой что-нибудь, покажи, что ты еще есть…» Я долго искала новую Пьеху. Ошибалась, писала пластинки и искала, искала, искала…

Когда Клеймиц ушел в мюзик-холл, эстафету от него принял Юрий Цветков. Семь лет я реставрировала машину, которая называется «артистка Пьеха», но не было ощущения, что все получается. Возможно, разрыв с Броневицким, как говорится, выбил из колеи. Во мне что-то умерло, а новое еще не родилось. Прежде чем родиться, оно должно было созреть. Но счастливый момент наступил, когда я поняла: коллектив сложился, все сработались – музыканты, звукорежиссеры, – прекрасные профессионалы, чувствующие требования времени, работающие, как говорят, на уровне мировых стандартов.

Наступило время, когда я снова ожила, стала встречаться с композиторами и поэтами. В поисках «новой» Пьехи мне очень помогла песня Северина Краевского «Бал». Юрий Цветков услышал эту песню по радио в исполнении Марыли Родович, записал на магнитофон и показал мне, и я сразу поняла – вот чего мне так не хватает, именно такой песни. Ведь для меня тогда мало писали, а Броневицкого не было рядом. «Бал» – первая за семь лет моей самостоятельной работы настоящая удача, именно эта песня оказалась новой точкой отсчета. Это было абсолютно точное попадание, «в яблочко», оно придало нужное ускорение, – и я оказалась в нужной галактике, на своей орбите, на своей

высоте.

Приехав на гастроли в Варшаву, рискнула спеть «Бал». Главный редактор музыкальных передач польского радио пришел ко мне после концерта и сказал: «Я принес вам цветы в знак признания того, что вы сумели спеть «Бал» иначе и, на мой взгляд, интереснее, чем Родович». Дело в том, что стихи Агнешки Осецкой глубоки по смыслу и допускают разные трактования. По замыслу Родович, бал этот – последний в её жизни. Мне же хотелось сказать песней: бал – это светлые минуты бытия, которые нам даны. Прожить их надо полно и достойно! Да здравствует бал нашей жизни! Так песня обрела свое второе рождение.

Польские песни вообще занимают особое место в моём репертуаре. В 1974 году я любила «Малгошку» («Małgośka»), с удовольствием её пела. С Марылей Родович мы познакомились на Кубе еще в 1970 году, она тогда только начинала свою песенную карьеру, выступала в каком-то удивительном цыганском платье и… босиком. Знаю, что некоторые мои песни, например, песню «Мама», исполняла на польском языке Слава Пшибыльская. Польша до сих пор для меня много значит, почти в каждой стране, где я бывала, есть своя польская община. И на концертах из зала мне передают записочки, просят спеть что-нибудь на польском языке. В России я себя чувствую, можно сказать, послом польской песни, польской культуры. Польша у меня в крови! На все свои петербургские концерты я приглашаю сотрудников консульства Польши в Санкт-Петербурге и самым большим признанием моих заслуг на Родине считаю награждение к 75-летию орденом «Золотой Крест Заслуги» Республики Польша.

«Мама» – песня-долгожитель Александра Броневицкого на стихи Олега Милявского, написанная специально для меня. Её любят слушатели, я охотно включаю её в свои концерты –

трогательную песню о самом дорогом для каждого человеке, перед которым, однако, мы так часто бываем виноваты. Когда умерла мама, эта песня превратилась для меня в реквием, в балладу, гимн всем матерям… Да, есть вещи, которые до конца понимаешь, пережив. Теперь эту песню исполняет Стас, посвящая её Илоне…

Есть еще одна песня, которая занимает особое место в моей творческой биографии. Это «Песня о Тане Савичевой». Я много лет прожила в Ленинграде и, как многие ленинградцы, была уверена, что Таня Савичева похоронена на Пискаревском кладбище. Правду узнала в 1976 году.

После моего ухода из «Дружбы» радиостанция «Юность» пригласила меня совершить поездку с концертами по студенческим строительным отрядам. По дороге в город Лукоянов Горьковской области (теперь Нижегородской) наша машина вдруг свернула с шоссе и остановилась у маленького сельского кладбища рабочего поселка Шатки, где, как оказалось, лежит моя землячка Таня Савичева. Девочка, чей блокадный дневник – десять лаконичных, но страшных своей горькой правдой страничек из записной книжки – стал на Нюрнбергском процессе одним из самых сильных обвинительных документов против фашизма. Я была потрясена этой внезапной встречей. Выяснилось, что Таня в 1943 году по «дороге жизни» через Ладожское озеро была вывезена сюда в детский дом. Нашлись архивы, нашлись люди, которые знали её и помнили. Боже мой,

что только не перечувствовала я в тот день у памятника Тане! Ведь мы с нею почти ровесницы… И здесь же у меня родились строчки «Моя землячка, Савичева Таня, прости, что не пришла к тебе с цветами…». Но я дала себе слово, что обязательно вернусь сюда еще раз.

Поэт Виктор Гин оставил эти строки в тексте песни о Тане, а композитор Евгений Дога написал музыку. Уже через два месяца премьера песни состоялась на Центральном телевидении. А потом пришло приглашение из Шатков. Люди не только из поселка, но из многих окрестных деревень собрались на огромной поляне, которая стала вдруг тесной. Там и проходил этот необычный концерт-реквием, концерт-благодарность. В годы войны горьковская земля приютила тысячи ленинградских ребятишек, вывезенных сюда из осажденного города. И потому самые почетные места в первых рядах были выделены тем, кто выхаживал маленьких блокадников, тем, кто уже много лет спустя взял на себя немалый труд восстановить трагическую историю Таниной жизни.

После концерта я обратилась к собравшимся с предложением начать сбор средств на строительство в Шатках памятника Тане Савичевой и всем детям войны, разделившим её судьбу. Первым взносом был сбор от моего концерта. А сама инициатива, горячо подхваченная молодежью, переросла во Всесоюзную акцию по сбору средств на строительство мемориала.

Но кроме этой войны, за которую наш народ заплатил столь высокую цену, была другая, она тоже унесла много жизней наших солдат.

Афганистан

Первый раз я поехала в Афганистан по приглашению Центрального дома Советской армии, именно там занимались этими поездками. Не сразу я приняла решение: призадумалась, это же не обычные гастроли, это ж как на войну ехать, на настоящую, где стреляют и убивают. Я не одна поеду, за мной сколько человек ансамбля, у всех семьи – дети, жены. Хотя не скажу, что был именно страх, больше беспокойство, слишком хорошо помнила войну, которую пережила ребенком. Подумав хорошенько, нашла ответ: солдатики, что воюют там, наши мальчишки, совсем юные, почти дети, они ведь там не по собственной воле, их отправили туда – служить, это их долг. У меня, как у артистки, тоже есть долг, я тоже в какой-то мере служу Родине. Так почему же я не поеду туда выступать? И решила для себя, что поеду в Афганистан, на эту горячую землю. Происходило это в 1979 году.

Афганский зритель проявил свою необыкновенную гостеприимность, сердечность, сразу было видно, как искренне он полюбил и оценил и услышанное. Афганцы, традиционно воспитанные на национальной музыкальной культуре, которая совершенно не похожа на русскую, удивительно живо и тонко отозвались на эстрадный жанр. Хотя с удивлением узнала, что

эстрадная музыка там тоже достаточно хорошо известна, но чаще всего там слышны индийские напевы. Специально для афганских зрителей мы включили в программу песни на языках дари и пушту. Однажды, гуляя по городу, я услышала мелодию, поразительно похожую на «Амурские волны», подумала тогда, как все люди, по существу, близки. Их может объединять красивая поэзия и музыка, ведь все мы тянемся к красоте, и более всего тогда, когда на нашей земле – война.

Наши концерты проходили при переполненных залах – в Доме культуры профсоюзов, Кабульском политехническом институте, в прекрасном зале театра «Кабул Нандари», в Доме советской науки и культуры. Также давали концерты в микрорайоне, где живут наши специалисты. Клуб заполнялся настолько, что прохода к сцене не было и ящики с инструментами, с осветительной и звуковой аппаратурой передавали из рук в руки над головами. Выступали вечером, надеялись, что долгожданная прохлада придет, но нет, в зале было жутко душно, я предложила переместиться на улицу, но чудесные люди, привыкшие жить по законам войны, грустно ответили: нельзя, «балуются» ракетными снарядами, постреливают…

Что такое «постреливают», я скоро поняла: в первую же поездку попали под обстрел. Страшно было не сказать как. Мы как раз выступали в каком-то клубе. Концерт прервали, всех – и артистов и зрителей – заставили встать вдоль стен, и мы ждали с замиранием сердца, когда прекратится грохот орудий. Проехали несколько городов, все были в постоянном напряжении, плохо спали, нам давали подробные инструкции, куда можно ходить, куда нельзя, что делать, если… В общем, весь наш коллектив был на военном положении. Страшное было время.

Но кроме страха было и другое – тот теплый сердечный отклик, который мы получали от солдат, ради которых приехали на войну. Их счастливые глаза, благодарные улыбки, они не всегда умели выразить словами то, что чувствовали, но я видела, как важно для них слышать наши песни. Наш приезд был для них почти как весточка из дома, поэтому и относились они к нам с нежностью и заботой.

Почти на всех выступлениях первые ряды были заполнены ранеными. Солдаты с забинтованными руками, ногами, головами сидели и не отводили глаз. Это были те, кто мог ходить, а потом мы поехали по госпиталям, пели для тяжелораненых, кажется, в Кабуле, уже не помню точно. Госпиталь был большой, столько глаз, наполненных болью, страданием, тоской по дому. Иногда я не могла сдержаться, чтобы не заплакать. Они часто обнимали

меня, говорили ласковые слова, спрашивали, из какого советского города мы приехали, отдавали письма, просили по возвращении передать родным. Специально для этих солдатиков я пела особенно душевные песни: «Мама», «Край березовый» и не только… все те, что вызывали в душе тепло и покой, воспоминания о доме.

Эти выступления были самыми трудными и важными – в военных гарнизонах, госпиталях. До сих пор помню самый необычный и трагический концерт – в Кандагаре. Мы жили на территории воинского гарнизона, и кто-то из музыкантов поймал в приемнике волну переговоров вертолетчиков. Оказалось, что прямо рядом с нами горел в небе вертолет. Тут же – взрыв, лопасти врезались в землю, погибли демобилизованные солдаты, летевшие домой. Это случилось за час или два до концерта. Я иду на сцену, а меня всю колотит, сил никаких. И публика сидит как каменная. Но подходит генерал, командир гарнизона, и говорит: «Спойте «Огромное небо». У меня слезы градом, говорю: «Я не смогу!» А он налил полстакана коньяка, приказал выпить, говорит: «Война есть война». Я вышла на сцену, лишь сказав, что песня посвящается погибшим вертолетчикам. Это было, пожалуй, лучшее исполнение той песни. Зал плакал. Потом стояла мертвая тишина, и все встали… Я об этом и сейчас не могу спокойно вспоминать – мурашки бегут по спине.

Всего довелось ездить в Афганистан три раза. В последний приезд случился эпизод, запомнившийся навсегда. Тогда начался вывод наших войск. После одного из концертов ко мне подошла группа солдат, и они сказали, что будут прикрывать вывод войск и многие из них не вернутся на Родину: «Напишите нам что-нибудь на память». Я смутилась, не знала, какие слова найти, но потом написала: «Дай Бог вам всем выжить и вернуться домой». От них писем домой было больше всего: так у меня сложилось несколько огромных пакетов с почтой, привезла, и уже из дома, в Ленинграде, звонила их матерям, невестам, женам, сестрам – чтобы передать весточки. Делала я это с особым чувством – чувством долга, мне выпала большая честь хоть как-то помочь нашим солдатам дотянуться до родного дома, хотя бы через письма связать их с родными, облегчить им тоску по дому. Я выполнила каждое обещание, данное нашим мальчикам в Афганистане. Письмо каждого попало в руки родных. И потом, даже спустя годы, иногда на мои концерты приходили те, кого я видела тогда, в том аду. Хотя встречи эти были очень редкими. Я уже меньше стала гастролировать, да и им, вернувшимся покалеченными, усталыми, опустошенными после этой войны, не очень хотелось ходить по концертам. К тому же большинство из

них были из глубинки и в большие города им трудно было добраться.

В Афганистане я общалась не только с простыми людьми, но и с высокопоставленными персонами, с главами правительств, чиновниками, а они менялись там довольно часто. Я даже с ними целовалась, что на Востоке запрещено.

С Нур Махаммедом Тараки, премьер-министром Афганистана в 1978–1979 годах, пила вино, хотя он мусульманин (но говорил, что в Америке научился это делать).

С Хафизуллой Амином я танцевала. Женщинам там не полагается танцевать в мужской компании, но мне разрешили: «Вы из Европы, ладно, танцуйте с нами». Люди они все были суровые, военные, но меня спасло мое зеленое платье, у мусульман это священный цвет.

С Бабраком Кармалем мы познакомились на приеме в советском посольстве. Командующий нашими войсками во время комендантского часа приезжал на БТР ко мне в гостиницу и хотел за мной ухаживать, но я его отправила обратно. Такие вот «встречи в верхах», но для меня все они были просто люди, которым нравились мои песни. Даже когда среди советской номенклатуры находились те, кто явно мне симпатизировал, всегда старалась перевести наше общение в русло музыки. Я, как мягкая кошка, которую можно погладить, чтобы снять стресс, но не более. Никогда не пользовалась моментом, оказавшись рядом с человеком, правящим этим миром, чтобы что-нибудь у него попросить.

Наедине со всеми

Я люблю приезжать в такие места, где людям нелегко, где им приходится преодолевать какие-то трудности, проявляя при этом мужество и стойкость. В таких местах каждый раз я открываю для себя что-то новое. Помню, как побывала в Оленегорске, у этого города есть свое лицо. Была рада узнать, что строили его ленинградские архитекторы. Хорошо, что он не похож на другие города. Мне запомнились и эти дома, стоящие полукругом, и ледовый дворец, и шахтерская эмблема, мне все это близко, ведь я родилась в шахтерской семье, оттого было радостно встретиться с оленегорскими горняками, которые оказались очень гостеприимными хозяевами.

Всегда с удовольствием выезжала на «заводские гастроли», дорожила их искренней и непринужденной атмосферой. Как дорогую реликвию храню свидетельство о присвоении мне звания «Почетная крановщица», его мне вручили в объединении «Ижорский завод». Цех – не концертный зал, акустика порой плоховата, но пелось там всегда легко.

Мой девиз – каждый день всё сначала. И вот уже почти шестьдесят лет я верна ему и рада, что когда-то решила жить и работать именно так. Каждый день – это новая встреча с людьми, ожидание чуда, что приходит к нам с рассветом, солнцем и радостью общения. Для артиста зрители – это гости, добрые гости, что пришли послушать и рассказать о себе. И я всегда рада их запискам, хранящимся у меня за многие годы в павильоне воспоминаний: слушатели обращаются с просьбами исполнить любимые песни, с пожеланиями, советами.

Всегда выхожу на сцену с чистыми руками, как хирург. Привношу что-то свое не в материю, но в душу, и это «что-то» должно быть самым чистым, светлым. А еще перед выходом на сцену я всегда молюсь и обращаюсь к родителям, потому что не хочу стоять на сцене одна. Это совсем непросто. И каждый раз, когда оказываюсь на сцене, чувствую себя так, будто это «в первый раз». Еще люблю разные афоризмы, приметы, потому что это квинтэссенция народной мудрости, намоленные, проверенные веками мысли. Народная мудрость выше книжной, вообще, в моей жизни много сказок.

Для меня гастроли по стране всегда были праздником, рада, когда люди понимают и любят песню, ведь это рассказ о пережитом и будущем, любви и надежде, и чем больше аудитория, вовлеченная в этот разговор, чем больше голосов услышит каждый из нас, тем богаче и щедрее на доброе

становится душа. Мне довелось побывать во многих городах нашей страны, многое увидеть и понять. Хорошие концерты, живое общение с публикой меня как будто окрыляют, эти встречи надолго западают в душу, помогают потом открыть в себе что-то новое. Как правило, в гастрольных маршрутах рождались мои лучшие песни, всякий раз черпала в них вдохновение.

Восемь месяцев в году мы проводили на гастролях. Где я только не побывала: у рыбаков Камчатки, у оленеводов Нарьян-Мара. Было однажды: добрались до сцены, смотрю – нет рояля, а я хочу спеть «Балладу о старом рояле». Расстроилась, почему мы должны обделять этих гостеприимных, душевных людей только потому, что не живут они в столице, ведь есть электронные клавишные инструменты, компактные и небольшие по объему, которые в дальних поездках с успехом могут заменить рояль. Нужна хорошая современная техника, аппаратура, понимание этого и являлось стимулом к дальнейшему развитию, работой не только над песнями, но и технической базой коллектива. Никто и ничего не приносил нам на блюдечке, до всего приходилось доходить самим, а потом искать не только средства, но потом ещё и доставать аппаратуру.

За свою жизнь на сцене я спела где-то более 500 песен. И не все изданы, что-то записано на радио, что-то устарело. Я всегда старалась воскрешать и давать новую жизнь тем замечательным песням, которым не придала в свое время большого значения. За долгие годы выступлений на эстраде побывала во многих странах, исполняя песни на французском, польском, венгерском, немецком, сербском, испанском, финском и других языках. Но моим родным домом был Советский Союз, который я весь объездила от берегов Балтики до Тихого океана.

В гастролях за рубежом составляла программу, обращая внимание прежде всего на музыку, потому что слово уходит на второй план там, где публика не понимает твой язык. Но это не значит, что я не исполняла там гражданских песен. Так, во время поездки на Кубу по просьбе слушателей пела песню Давида Тухманова «День Победы», хотя она не входила в мой репертуар. Эта песня – поэма о прошлом, которая зовёт вперед, в будущее, – там очень популярна. Это песня человечности, это песня подлинной гуманности. Это – песня борьбы. Она была популярна там так же, как и «Подмосковные вечера», «Надежда», «Катюша».

Нью-Йорк, Сан-Франциско, Филадельфия, Чикаго… Миссия у нас была ответственная – мы несли песню людям, которые когда-то расстались с родиной, расстались по разным причинам. Бурная реакция публики становилась стихийным выражением любви к родине, связь с которой не разорвать ничем, никакими

обстоятельствами.

Да, я часто пела на иностранных языках – на польском и французском, – но это не означало, что была пропагандистом западной культуры. Это были старые французские песни, народные польские, которые я знала с детства. Я всегда была прежде всего гражданином искусства и пела то, что мне нравилось, а не ради идеологии и пропаганды. Так, спела песню «Горечь» на стихи Марины Цветаевой, когда она была запрещена и не издавалась. Пела песни на стихи Андрея Вознесенского, Глеба Горбовского, Роберта Рождественского – это была настоящая поэзия.

Меня часто спрашивали, почему я не осталась на Западе. А зачем? У меня была возможность в любой момент поехать в гости, родственники мои жили и живут во Франции. Меня очень любили в Германии, специально для немецкой публики учила песни на немецком. Больше тридцати раз выступала там, в том числе и на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, куда нас направил ЦК комсомола. Давали концерты для спортсменов. Иностранцев было много, поэтому пела на французском, польском, немецком, испанском, сербохорватском. Успех был колоссальный, а потом случился теракт. Нас всех вызвало руководство советской делегации, дали инструкцию: меньше троих никуда не ходить, по-русски не говорить, но мы все-таки куда-то пошли. Нас остановили, стали спрашивать: откуда мы приехали. Я за всех ответила по-французски, и нас отпустили.

Много где я выступала, например, в странах Латинской Америки. Я была первой российской артисткой в Боливии, в Ла-Пасе – на высоте 2,5 тысячи метров над уровнем моря, выступала там для боливийцев. Даже министр культуры подарил мне шикарное пончо из шерсти ламы. Мы были первыми советскими людьми, которые ступили на землю Гондураса.

Одной из самых интересных была, пожалуй, поездка в Латинскую Америку. Выступала я в Перу, Боливии, Коста-Рике, Гондурасе… В то время в Перу произошло сильное землетрясение. Летели мы туда 32 часа. Когда прилетели, нас сразу же направили в город Чимботе, самый центр землетрясения. Разруха была страшная. Мы выступали прямо на площади. А на следующий день газеты писали: «На этой площади ни один политический деятель Перу не собирал столько народа, сколько собрали русские. Спасибо послам без верительных грамот». А собралось тогда больше четырехсот тысяч человек. И все кричали «Браво, руссо!»

Отец и мать все лучшее всегда отдают детям, потому что дети

понесут дальше традиции семьи, традиции дома, а мои дети – это песни. Петь – это значит иметь успех, который не покупаешь, а трудом зарабатываешь, заслуживаешь. В шутку иногда говорю: ведь я из шахтеров и, можно сказать, продолжаю династию – с гордостью ношу звание Почетного гражданина Кемеровской области и благодарна Аману Тулееву за многолетнее сотрудничество, помощь и поддержку. Шахтерские корни научили меня быть сильной! Труд, труд и труд – и до сих пор. Я никогда не унывала. Всегда была стильной, не модной, а стильной. У меня свой стиль, железный, абсолютный. Я никого никогда не слушаю. Я полна энергии, потому что заряжаю себя, умею себе установку давать, наверное, только поэтому по сей день в строю и свой 80-й день рождения готовлюсь встретить на сцене, с теми, кто остается верен мне все эти годы.

Песни – это не только годы, но и мудрость, умение понимать жизнь… Я участвовала в рождении множества песен, и каждая из них что-то в моей жизни изменила, чем-то её обогатила, внесла какое-то новое содержание. Конечно, есть песни, к которым я отношусь по-особому. Это «Стань таким»; исполняя её, я нашла себя как артистка. Песни большого гражданского звучания – «Огромное небо», «Венок Дуная», лирическая «Вальс при свечах», забавная песенка о соседе, который играет на кларнете и трубе. Такие как «Город детства», «Мама», позволяющие открыть себя и раскрыть человеческие судьбы…

В былые, безусловно, хорошие времена композиторы Оскар Фельцман, Марк Фрадкин, Александр Броневицкий, Андрей Петров – корифеи песенного искусства – не просто сочиняли песни, но и искали соответствующих исполнителей для своих музыкальных детищ, причем исполнители у каждого композитора были свои, любимые. Случайных встреч с песнями не было, тогда их для меня писали, мне их дарили. Сейчас песни заказывают и их принято покупать, я это прекрасно понимаю, поэтому, когда Илья Резник прислал мне стихи песни «Я люблю этот мир», спросила: «Сколько я должна?» – «Ты что, с ума сошла? Я с тебя денег не возьму». Владимир Калле, когда я, заказав ему для прошлой юбилейной программы две песни, спросила: «Как мне с вами рассчитаться?», стал отнекиваться: «Ну, как-то неудобно». – «Но кушать-то вам хочется». – «Вы правы». Тогда я узнала, сколько стоит песня – он попросил пять тысяч рублей…

Не играла никогда в артистку, и для меня никогда не было цели быть артисткой. Мне нравилось петь о том, что важно для каждого из нас. Скорее всего, я такая же, как все, но просто наделенная немного опытом и, может быть, даром божьим выходить на сцену и говорить о том, что волнует всех. В моем

репертуаре нет песен случайных. У каждой песни своя биография. И чаще всего все мои песни о любви: если я влюблялась, как впервые, так я придумала песню; если поняла, что разочаровалась, у меня опять появлялась песня об этом. Вся моя жизнь отражена в песнях, они средство моего самовыражения. Та пронзительность, что есть в них, получается потому, что я не в состоянии спеть ни одной ноты, если она не трогает мое сердце… Конечно, можно петь не сердцем, а только гортанью, когда только две голосовые связки издают звук, но меня такое «искусство» не волнует… Бывают певцы, которые всё делают, казалось бы, непрофессионально, но запоминаются на всю жизнь.

С песнями связано много воспоминаний и самых разных историй, как забавных, так и драматичных. Из забавных – история с петухом: выступала я в Петропавловске, что в Казахстане, концерты проходили в старом цирке, совсем рядом с ареной находились клетки с животными. И вот начала я с чувством, проникновенно петь «На тебе сошелся клином белый свет…» и вдруг слышу – мне отвечает из-за занавеса петух – громким таким «кукареку!». Спела вторую фразу – и опять: «Кукареку!» Ну, что делать, что, так и придется петь дуэтом? Когда закончила песню, в зале смеялись до слез. У меня в глазах тоже были слезы – только совсем не от смеха…

Есть у меня в репертуаре песня «Старый рояль». Толчком к её написанию композитору Александру Морозову и поэту Юрию Марцинкевичу послужило обычное газетное объявление о продаже рояля. Когда пришли по указанному адресу, оказалось, что с самой войны на инструменте никто не играл: его хозяин, пианист, потерял в боях руки, но, пока был жив, не мог расстаться с роялем. В День Победы он прикладывался к черному полированному дереву лицом, и ему казалось, что инструмент звучит, как когда-то звучал под его пальцами…

И вот, когда я спела эту песню в одном из городов, из зала, закрыв лицо руками, бросился какой-то человек. Потом мне

объяснили, что до войны это был лучший в городе скрипач. И, как у героя моей песни, война отняла у него кисть руки… Таких судеб много. И всякий раз, исполняя песню, я стараюсь передать слушателям мысль о том, как это несовместимо: существующее во имя людей искусство и чуждая всему человеческому война. И люди должны сделать всё, чтобы следующие поколения никогда не испытали её ужасов…

Помню город Ростов, там впервые я услышала песню, вдруг зазвучавшую во мне. Это был великолепный сплав стихов и музыки. Песню пела Валентина Левко. Я поняла, что это моя песня, которую я долго искала и неожиданно нашла. И решила её спеть, репетировала долго, надо было создать характер сильный и цельный, стремящийся к любви, характер высокой, гордой, красивой женщины. Очень непросто было найти верную интонацию для ключевых слов:

Если я тебя придумала, —
Стань таким, как я хочу.

Эта песня на долгие годы стала самой любимой для меня.

Звания и почести

Странное у меня было взаимодействие с властью. Народ меня любил, а власть имущие как-то косо поглядывали. Было время, прижимали, «дескать, не так поете, с буржуазным подтекстом, и вообще, какая-то вы не наша, иностранка, и акцент у вас…», и так далее. В лицо редко подобное говорили, но за спиной, сами понимаете. Потом вроде полегче стало. Давали петь, выезжать на гастроли, но не давали мне звания. Тогда их все артисты получали в связи с юбилеями, а мне «заслуженную» дали после фестиваля в Софии, в 1969 году и с «народной» заминка вышла: должна была стать ею к пятидесятилетию, в 1987 году. «Ленконцерт», Союз театральных деятелей, известные композиторы были «за», а компартия сказала: «нет». Культурой тогда в обкоме заведовал Лопатников, он был другом кого-то, кто меня не любил. Он и сделал все, чтобы зарубить присвоение мне звания.

После того как не дали звания к юбилею, было ощущение, что кто-то опрокинул на меня фужер вина, но я думала: «Я сильная, меня люди любят. У меня есть публика» – и получила его опять на следующий год. Мы были на гастролях в Венгрии, в группе наших войск. Заключительный концерт был 12 октября 1988 года для летчиков. Подъезжаем к гарнизону, и я вижу огромный плакат: «Сегодня состоится выступление народной артистки СССР Эдиты Пьехи». Для меня это было как нож в сердце. «Зачем вы написали неправду? – спросила я командира гарнизона. – Я народная артистка РСФСР». – «Да что вы говорите? – возмущается командир. – Вы для нас всех уже давно народная артистка СССР». После концерта был торжественный ужин, на следующий день мы должны были уезжать.

Ночью после концерта мне приснился сон: демонстрация, транспаранты. Наверное, меня впечатлила та большая афиша с «народной артисткой СССР». Вдруг стук в дверь. Открываю дверь, в коридоре собрались все музыканты. «Мы ведь вроде вечером уезжаем?» – спрашиваю их, ничего не понимая, спросонья. «Эдита Станиславовна, случилось такое, что невозможно было вас не разбудить», – говорят они. «Что, что случилось?» – «Можно зайти?» – «Заходите». Они зашли, но что-то держат позади себя. Мой звукорежиссер говорит: «Эдита Станиславовна, сегодня утром по радио передали, что вам присвоено звание «Народная артистка СССР». – «Вы что, шутите?» – спрашиваю. «Нет. Летчики вчера не шутили». Потом ехали в поезде, и на каждой станции приходил военный: «Поздравляем Пьеху со званием». Такой

праздник был.

Еще больше я ощутила, что меня любят, когда приехали в Ленинград. На перроне меня встречала целая демонстрация, все поздравляли. Вскоре меня вызвали в обком. Я испугалась: вдруг будут отменять звание? Но вместо Лопатникова меня встретил Дегтярев. «У меня к вам серьезный разговор», – начал он осторожно. «Что, звание будете отнимать?» – спросила я. «Почему вы так думаете?» – «Так мне его дали через год». – «Правильно. Только скажите правду: это вы организовали письма в обком партии?» – «Какие письма?» – удивилась я. И он показал мне на мешки писем: «Вот эти. Со всей страны нам писали, чтобы вам дали звание».

И тут я вспомнила, как год назад, в мой день рождения, 31 июля 1987 года на концерте, когда люди узнали, что мне не дали звания, на сцену поднялась моя давняя почитательница из Житомира, Валентина Чмут, и сказала: «Именем советского народа мы присваиваем вам звание народной артистки СССР», – и прочла стихотворение:

Сегодня вам и розы и сердца,
Людей и знаменитых и великих,
А мне сказать досталось от лица
Вот этих, безымянных и столиких.
Что, заполняя залы, тридцать лет
Текут к Вам немелеющей рекою,
Чтоб прикоснуться к Вашей красоте
И нежности и сердцем и рукою.
И в этот день, и в этот светлый час,
Из кабинетов, от станков и пашен,
Пришли поздравить добрым словом Вас
Мы, зрители и слушатели Ваши.
И если б можно званье учредить
Народного артиста всего мира,
Мы б в этом списке номером один
Внесли бы имя нашего кумира.
Примите же нижайший наш поклон!
Успехов Вам, здоровья, счастья просто —
Эдита Пьеха – вечный эталон
Изящества, красы и благородства!

Прошло почти полтора года, и я получила это звание благодаря письмам, которыми завалили обком. А Лопатникова, кстати, сняли. Не буду скрывать, первое время я переживала, что

мне не дают звания. Но я живу среди русских людей, знаю их сердца, мысли, знаю, какие песни хотят от меня услышать. Я не позволяю продавать билеты на мои концерты дороже, потому что не хочу потерять свою публику. Когда зрители дарят мне цветы, я считаю, что это самый дорогой гонорар, потому что каждый лепесток не переводится ни на одну валюту. Горжусь званием народной артистки, знаю, что получила его заслуженно.

Да, я никогда не была любимицей партийных боссов, а за что им было меня любить? Я эстрадная певица, никогда верноподданных речей не произносила. Каждый день соприкасалась с человеческими проблемами, потому что люди часто приходят за кулисы, рассказывают, пишут. Конечно, я не президент и не получаю тысяч писем в день, но на каждое стараюсь ответить, потому что это тоже культура. Вот потому народ меня и отстоял: письма посыпались в обком в таком количестве, что аппаратчикам некуда было деваться.

Мой зритель

И все равно, звания званиями, а для меня самое важное мой зритель. Вспомнилась история с народной певицей Лидией Андреевной Руслановой. Раньше был такой театр массовых представлений, его возглавлял Илья Яковлевич Рахлин, создатель Ленинградского мюзик-холла. Он делал на стадионах сборные концерты с популярными артистами. В одном таком концерте мы с «Дружбой» принимали участие. Всех актеров вывозили на стадион – кого на лошади, кого в карете, кого на машине. Начиналось представление с Ленина, он выезжал на броневике.

После своего номера я была в обычной комнате, гримуборных тогда не было. Рядом сидела женщина с косами, в красивом народном костюме, но я не знала её. «Я Лидия Русланова, – сказала она. – Мне понравилось твое выступление. Ты молодец. Выступала для простых людей, а как хорошо они тебя принимали». – «Так у меня уже пластинка есть», – решила я похвастаться. «Представляешь, у меня не было пластинок, – ответила она. – Я выступала и для богатых, и для бедных. Для богатых в простой одежде, а для бедных в самой роскошной, вот как сегодня».

В парижском зале «Олимпия» мне сказали почти тоже самое: «В зале богатые люди. Вы должны быть скромно одеты». Представляете, какое совпадение – простая русская певица знала, в каком наряде нужно выйти к публике. Она мне рассказала историю, как пела после Победы на ступенях рейхстага и какой-то солдат подарил ей ветку сирени. Прошли годы, и на её концерте в Горьком или Смоленске на сцену вышел пожилой человек с букетом сирени и сказал, как в 1945 году подарил ей ветку сирени в Берлине. Я попросила поэта Соломона Фогельсона написать стихи об этом. Красивая получилась песня, но я её мало пела, сейчас, наверное, уже никто и не помнит её.

Публика бывает разная, – темпераментная и наивная, как на Кубе. Интеллигентная, требовательная, которую не купишь мишурой, как в Париже или Варшаве. В Берлине публика требует, чтобы любая песня была на немецком. Меня заставляли петь на немецком «Дорогой длинною», пыталась отказаться. «Мы вам платим, госпожа Пьеха, и вы должны спеть». Выучила. Мне с публикой повезло – она очень пластичная. Если пела веселую песню, просила подпевать, спускалась в зал и пела вместе с ней.

Однажды пела в американском ресторане Шуфутинского для русских «Огромное небо». Перед выступлением сказала: «Очень прошу оставить сейчас еду и рюмки. Я пришла к вам, чтобы вы

послушали меня. Когда я уйду, вы поедите». И они слушали меня. Потому что артист, как дирижер, может задать тон – какой он будет, такая будет и публика. Если он развязный, то и люди в зале будут такими. У меня даже есть такая оценка выступления: если во время того, как я пою важную для себя песню, кто-то уронил номерок, значит, виновата я – плохо спела, не сумела сконцентрировать внимание публики на песне.

Я знаю, что обладаю способностями растопить даже самые холодные сердца. Ко мне приходят письма следующего содержания: «Десять дней после вашего концерта я летал» или «Я вас терпеть не могла, друзья насильно привели меня на Ваш концерт, и теперь я все время пою ваши песни». Правда, иногда любовь людей ко мне находит весьма странные проявления. В середине 90-х, накануне выступления в концертном зале «Россия», я получила целую серию писем от одного и того же человека. Вот о чем там говорилось: «Ты мне не дала денег, чтобы купить билет на твой концерт, и поэтому я решил прямо на сцене облить тебя кислотой». Я дала прочитать эти послания сотрудникам зала «Россия». Они выстроили при входе билетеров особым образом, но ведь все равно трудно рассмотреть в толпе человека, который несет кислоту… Концерт прошел благополучно, и, когда я уже забирала цветы, нашла записку: «Ты меня прости, я посмотрел твой концерт, поплакал и раздумал обливать тебя кислотой».

Быть на сцене – большая ответственность. Надо постоянно искать себя, искать новые пути к сердцам людей. В свое время я стала комментировать свои песни, чтобы публике создать настроение. В дальнейшем эта форма общения со зрителем «ушла в народ», что называется, и многие артисты взяли её на вооружение.

Позднее я стала родоначальницей традиции, когда артист в свой день рождения выступает с сольной программой. Первая моя программа так и называлась – «День рождения вместе с вами». Может быть, это произошло потому, что я очень люблю свою публику и называю её «наполеоновской гвардией», в шутку, конечно!

«У молвы на виду…»

Популярность порой рождает самые нелепые домыслы и слухи. Много лет назад я проходила обследование в Ленинградском онкологическом институте. Каждый день моталась туда на такси, и в итоге выявили у меня «страшную хворь» – переутомление, с этим диагнозом я и улетела на гастроли, а таксисты перестали возить меня в институт онкологии. И пустили слух, что Пьеха умерла. У нас же таксисты всегда были в курсе всех горячих новостей!

Что началось! В «Ленконцерте» оборвали все телефоны: «Почему скрываете дату панихиды?!» В дом стали приходить с венками поклонники и товарищи по сцене, коллеги – сплошь более молодые и менее популярные, и у них было горячее желание похоронить меня достойно, а в моем номере в Краснодаре раздается звонок: «Что с Эдитой Станиславовной?» – «Мама, не узнаешь? Это я», – отвечаю свекрови. «Дита! Батюшки! Ты жива?! А тут такое-е!» Вернулась я с гастролей, показалась по телевидению, и вроде все улеглось.

Прошел год, как-то в очередной раз вызываю такси, за рулем женщина, смотрит заказ: «А-а, Пьеха, однофамилица, значит, бедной моей Пьехушки!» – «А почему бедной?» – «Так она же умерла». – «Подождите, Пьеха – это я!» – «Вы и впрямь на нее похожи, но я сама ее хоронила! А неделю назад на могилке была!» – «Ах, так? – говорю. – Ну тогда разворачивайтесь, едем на кладбище!», но от этого маршрута ушлая таксистка предусмотрительно отказалась, а я и не возражала.

В Москве, в гостинице «Урал», со мной приключился интереснейший случай. Много лет назад там работала злющая горничная. В то время все артисты ездили на гастроли со своими кипятильниками. Так эта женщина отняла их у меня штук… Пять! Я каждый день покупала, а она у меня отнимала. Даже из чемодана вытаскивала! На одном из концертов мне подарили охапку цветов. Возвращаюсь я усталая в гостиницу, подхожу к горничной и говорю: «Я хочу подарить вам эти цветы!», а она как заплачет: «Нет, я не возьму их – ни за что не возьму!!» Я сама чуть не плачу: «Ну возьмите, ну по-жа-луй-ста!» Тут она совсем разрыдалась: «У меня муж алкоголик – мне в жизни никто цветы не дарил, а тут столько!» Она вернула все пять кипятильников и больше никого из моих музыкантов не трогала.

Однажды во время гастролей в Сочи познакомилась с одним «кавалером». За мной стал ухаживать очень симпатичный молодой человек, тоже из Питера, манекенщик, звали его Миша.

Мы обменялись телефонами. Через некоторое время в моей городской квартире раздался телефонный звонок. Звонил тот самый Миша, предложил встретиться в кафе «Север». Встретились, сидим, пьем кофе, я думаю – и чего же этот Миша так скромно себя ведет, молодой же парень, да и я ничего. И, уже провожая меня, Миша робко произнес: «Эдита Станиславовна, я вам наврал, что вы мне нравитесь как женщина, я «голубой», и женщины меня вообще не интересуют, но вы мне очень нравитесь как артистка! И еще очень хочу вас попросить: не могли бы вы помочь мне «Волгу» без очереди купить!» Я остолбенела!!! А придя в себя, сказала: «Пошли бы вы, Миша… куда подальше!» Долго потом смеялась…

Случается, воспитываю своих почитателей, выступала с номером «Парижское танго», во время инструментального проигрыша уходила за кулисы, а возвращалась уже в новом платье. И вот за кулисы ко мне рванулся мужчина с цветами, его, понятное дело, не пустили. Тогда он демонстративно кинул цветы на пол и спустился в зал. Когда песня закончилась, я сказала: «Извините, молодой человек, я переодевалась, а вы, наверное, об этом не догадались и не сообразили, что купили билет на концерт Эдиты Пьехи, а не на ее стриптиз». Все засмеялись и зааплодировали, а он вышел на сцену и поцеловал мне руку.

Я хорошо чувствую публику, интуитивно, как инопланетянин, воспринимаю сигналы из зала. Однажды получила из зала очень плохую записку: «До какой поры ты будешь утомлять своим воем на сцене? Убирайся со сцены, уступи место молодым. Сколько можно здесь маячить? Ненавижу!!» Я прочитала эту записку вслух и думаю: а что дальше-то делать? В зале стоит суровая тишина. Спокойно порвала записку на множество частей и попросила: «Дайте мне салфетку, руки вытереть!» Протерла руки и сказала: «Ну, что, концерт продолжается!» Зал взорвался шквалом аплодисментов.

Иногда получала «подлянки» от коллег. Приезжаю однажды на концерт, уже надела специально сшитое для этого вечера платье, а туфли пропали! Рядом стоит коробка. Открываю, в ней лежит записка: «Носи галоши лучше», и сами галоши лежат рядышком. Вот такой подарок. Я, не мудрствуя лукаво, надела на ноги «подарок», так «гармонировавший» с романтичным нежным платьем, вышла на сцену и продемонстрировала «дар» зрителям.

В начале девяностых я была на лечении в Кисловодске, где каждый день ходила по семь-восемь километров по горной тропе. В тот злополучный день мне не хотелось идти на прогулку, но я все-таки заставила себя подчиниться внутренней дисциплине. Сказала себе то, что часто говорю: «Ну, Пьеха, не будь

лентяйкой!» И вот на обратном пути, когда до санатория оставалось километра два-три, с горы неожиданно спустился всадник. Он схватил меня за шиворот, поволок в кусты. Постелил там шкуру и объявил: «Я за тобой давно наблюдаю. Ты все время ходишь в голубой куртке и красных штанах. Ты мне очень понравилась! Я все продумал, рассчитал, так что сопротивление бесполезно!» Сижу на шкуре и с ужасом думаю: «Все, Пьеха, ты пропала! Не убежать – на лошади догонит!» И я поняла, что мне ничего не остается, как заговаривать маньяку зубы. Начала издалека: «Извините, а как зовут вашу лошадь? А сколько ей лет? А есть ли у нее жеребята?.. А кого вы любите больше всего: маму, папу или лошадь?» Он на меня смотрит, как на идиотку, ничего не понимает. Но с объятиями немного отстал, а мне только этого и надо. Не даю ему опомниться: «А вы далеко живете? Мне что-то лицо ваше знакомо!» Наконец от выдавил из себя: «А зачем тебе все это знать?» На это отвечаю: «Вы такой небритый…» – «Ну, и что с того?» – спрашивает он. Тут я и говорю: «А вот что все это значит: вы телевизор смотрите? Я ведь артистка, песни пою, меня по телевизору часто показывают». Он же уперся: «Ну и что?» Тогда я спрашиваю: «Извините, вам сколько лет?» Он: «Тридцать!» Тут я немного осмелела и объясняю: «А мне уже пятьдесят пять!» Он опять: «Ну и что! В голубой куртке и красных штанах ты мне так понравилась!» Казалось, это продолжалось бесконечно, я даже не зафиксировала момент, когда он сник и процедил сквозь зубы: «Уби-р-р-айся!»

Здесь я, наверное, побила рекорд по бегу на средние дистанции – за минуту домчалась до санатория, потом долго еще благодарила Господа Бога, что уберег меня от маньяка. После этого случая стала побаиваться ходить в лес одна.

По законам молодости

Мне очень часто задают вопрос: «В чем секрет вашей молодости?» Вначале я терялась, не знала, что отвечать, но моя жизнь сама ответила на этот вопрос: «Для того, чтобы быть красивой, надо страдать», – говорят французы. Я немного переиначила эту пословицу: «Для того, чтобы быть артистом, надо страдать». Дарование – не права, а обязанности. Жертвы приносить, конечно же, приходится, но очень полезно ставить себя на место тех людей, для которых ты поешь, ради которых живешь, в сущности. Конечно, не просто отказывать себе во многом, например, не есть то и столько, сколько хочется, но, если себе почаще напоминать, что ты выходишь на сцену и все на тебя смотрят, то лишить себя маленьких житейских удовольствий можно.

Когда-то я вычитала, что знаменитая Жозефина Бейкер, до семидесяти с лишним лет выступавшая в парижском мюзик-холле, красавица, сохранила свою прекрасную форму, потому что буквально терзала себя. Я не терзаю себя, но, например, раньше, уезжая отдыхать, я брала с собой не весы, а юбку, которую носила двадцать лет назад. Каждое утро примеряла её, и, если она не застегивалась, говорила себе: «Ого, значит, ты уже не та Пьеха, а

ну-ка сделайся той, сбрось два десятка лет! Так надо, ведь на тебя смотрят люди!» Действует безотказно. Зато как приятно бывает, когда после концерта тебе говорят: «Вы нас заставляете быть женщинами!»

Порой доходило до курьезов. Были у меня гастроли в Австралии для потомков харбинской эмиграции. Там, в Мельбурне, достаточно упитанные женщины прошли ко мне за кулисы: «Мы не ваши поклонницы, но сегодня хотели просто покайфовать и посмотреть на состарившуюся Пьеху, а вы нам очень испортили настроение – и как это вы умудряетесь оставаться такой юной?! «Все просто, – ответила я. – Вы тоже так сможете, не будьте злыми».

И еще одна история, только российская. Однажды на гастролях в глубинке пробирается в артистическую дородная дама с моей афишей – за автографом: «Пьеха, а сколько тебе лет?» – «Ну, за пятьдесят», – говорю я. «Так я же на двадцать лет моложе тебя! Вот, купила твою картинку, подписывай. Я её повешу на кухне и кончаю объедаться!»

К сожалению, у многих женщин есть такая дурная философия: приходит усталая с работы или в гости к хорошо накрытому столу и… «Эх, один раз живем, и так мало радости, поедим от души!» Это самое пагубное для женщины. Женщина должна детей накормить – они потом похудеют, если надо будет; мужа – меньше на сторону бегать будет; гостей, когда они в дом приходят, а себе надо сказать: «Это мне нельзя, а этого не надо». Зато утром встать, поглядеть на себя в зеркало и порадоваться: «А я еще ничего, и любимая юбка на мне застегивается». И бегом на работу, легкая, с ощущением, что горы можешь свернуть. Надо бросать вызов своему возрасту, жалкой женщина не может быть, она должна с прямой спиной ходить и с высоко поднятой головой, как бы там тяжело ни было…

Мне почему-то с юности прибавляли годы, сравнивая со своими мамами, а теперь и бабушками, поэтому я никогда не скрывала свой возраст. Вы знаете, есть биологический возраст и есть возраст по метрике рождения, они не всегда совпадают. У некоторых людей возраст биологический опережает возраст в метрике, у других наоборот. Вот мне скоро восемьдесят, а я не верю, кажется, что мне меньше лет. Бывает так, другим намного меньше, а они вздыхают: ох, я больная, ох, мне плохо, ох, полежать, ой, «Скорую» вызвать. И что этим изменишь? Ничего им не нужно, ничего не интересно, но так же нельзя! Подумайте, каково вашим близким все это наблюдать… Надо брать себя в руки, вызывать жизнь на дуэль: «Давай, кто кого?» На вопрос: «Сколько вам лет?» я часто отвечаю: «Столько, сколько хочу!» У

женщины есть возраст души и сердца, у меня даже есть об этом песня:

Мужчин интересует женский возраст,
И чтоб их в заблуждение ввести,
Мы отвечаем любопытным просто:
«Нам где-то так, в районе тридцати».
Мужчины, помните всегда,
Для женщин годы – не беда,
Особый знает женщина секрет,
Ей власть над временем дана,
На сколько выглядит она,
Вот столько, столько ей и лет!

У меня есть свой взгляд на моду, это мой собственный стиль, чувствую, что мне идет, а что нет. Можно примерить что-то на себя, воспользоваться идеями, но все равно платье будет той длины, которую я считаю правильной для себя, и не только длина важна, но и цвет, форма, – все должно находиться в гармонии!

Я сама придумываю свой облик, для меня это как сочинение на вольную тему, и достигается это не деньгами, а бесконечными поисками, часто ошибками, зато рождается замечательный результат – люди полюбили мой образ, почувствовав, что моя искренность не наигранная. Кроме этого, я всегда была требовательна к тому, в чем должна выйти на сцену. Уродиной себя не назову, но элегантность моя может быть еще и за счет высокого роста. Всегда шутя говорила, что я хорошая вешалка, на которой смотрятся любые платья. Со вкусом у меня от Господа Бога все в порядке.

За модой никогда не следила. Станиславский говорил, что мода – отсутствие вкуса. Я считаю, что мое поколение, поколение шестидесятников, сумело задать хороший тон, создать свой стиль поведения на сцене, манеру одеваться. Получаю истинное удовольствие от ухода за собой, но это в основном не косметические, а оздоровительные процедуры, свежий воздух и тишина в моем загородном доме. Все это способствует не только оздоровлению организма, но и очищению энергетики, а ведь я работаю благодаря ей.

Для гастролей у меня специальный маленький чемоданчик, он уже много лет всегда ездит со мной. В нем есть все необходимое для того, чтобы ухаживать за лицом в дороге, чтобы можно было умываться в поезде даже без воды. Для этого надо сначала снять грим, а потом уже с помощью маленького полотенчика сделать компрессы с минеральной водой – это очень

полезно для кожи – и наложить крем.

Красота – это труд! Надо следить за собой: не лениться делать маски, зарядку для тела, гимнастику для лица. Не стесняйтесь корчить рожицы! Гримасничая, я тренирую мышцы, которые поддерживают кожу щек, век, подбородка. Для этого не так сложно найти время: в машине, перед телевизором, и методики сейчас все доступны. Главное – не лениться! Перед сном обязательно делаю компрессы: смачиваю полотенце в горячей воде, прикладываю к лицу на пару минут. Затем то же самое с ледяной водой. И так 4–5 раз. Наношу питательный крем и – спать!

В плане нарядов ношу только то, что мне нравится, и то, что в моем стиле. Очень давно одна из моих модельеров, Нонна Меликова, в шутку назвала его будуарным стилем Пьехи. Что ж, я не возражаю, графини, принцессы и княгини сидели в будуарах в красивых одеждах, но поскольку у меня нет будуара, я, выходя на сцену, стараюсь этот будуар создавать – декорацией, платьями, цветами. Во мне есть это ощущение: людям нужно, чтобы артист выходил на сцену, как на праздник, недаром люди говорят про нарядно одетую женщину: «Красивая, как артистка». В красоте наряда есть культура, уважение к людям, священность какая-то… Никогда не позволяю себе даже присесть в концертном платье, очень люблю свои концертные платья и храню их за многие годы.

Дома всегда отдавала предпочтение спортивной одежде, в ней всегда комфортно. Никаких халатов, он у меня один много-много лет, только для грима.

Перед выходом на сцену надеваю, как талисман, колечко с маленьким бриллиантиком, а после выступления его снимаю. Не люблю носить ничего на руках, даже часы мне мешают. Когда птицу окольцовывают, она теряет свою независимость, а мне всегда хотелось чувствовать себя свободно, как птица, если бы я, например, играла в кино Антуанетту или Екатерину, то, конечно, разрешила бы на себя надеть что угодно. Но в жизни не люблю носить украшения, люблю свободу.

Жить надо вкусно!

С весом у меня до недавнего времени проблем не было, это от природы. До перелома колена, который мне «подарила» моя собака, всегда была подвижная, по сцене летала, а сейчас даже не хожу, сижу на любимом барном стульчике и повсюду вожу его с собой… Что ж делать – жизнь испытывает на прочность, но я не потерялась, не перестала выступать, хотя восстановиться после травмы стоило большого труда, а потом ещё с бо€льшей силой дал себя знать позвоночник…

Всегда любила пирожные, они для меня как наркотик. Когда уставала, съедала какое-нибудь вкусненькое пирожное и чувствовала, что мне делается легче, а лишние калории быстро сжигались на концертах. Но я женщинам говорю: «Будьте осторожны, три минуты во рту, пять минут удовольствия – и несколько месяцев на бёдрах».

Вообще меня выручает мое шахтерское происхождение. Я с детства не ела роскошной пищи и сейчас прекрасно обхожусь без икры и прочих деликатесов. В детстве мама мне давала только картошку, клецки и хлеб. Мяса я ем мало, предпочитаю птицу, сливочное масло не употребляю, ем овощи, капусту, рыбу, в целом мой рацион ближе все-таки к простой, крестьянской пище. Избегаю соль, потому что стала замечать, что стоит чуть-чуть соли съесть, как тут же появляется отечность на руках и ногах. Сахар не употребляю вообще – это тоже привычка с детства: шла война, кофе и чай нам выдавали по карточкам, а сахара не было. Очень люблю соки, свежевыжатые.

Любимые блюда – не жирные и не очень острые. Стараюсь есть не жареное, а запечённое, желательно малокалорийное. Зачем своему организму давать большую работу?

Люблю щи из кислой капусты, причем не на мясном бульоне, томатный суп – это польское блюдо, готовят его так: варится томатное пюре из помидоров, а не из пасты, и заправляется рисом. Люблю картофельные блюда, тезы, что готовятся из сырого картофеля вперемешку с вареным – делаются шарики, начиняются сливой или вишней и опускаются в кипящую воду. Их едят с простоквашей или сметаной.

Иногда балую себя ДРАНИКАМИ, те же оладьи, только картофельные, польское блюдо из моего детства:

1 кг картофеля, сырого!

3–4 столовых ложки муки, можно без горки – в зависимости от густоты протертого картофеля;

соль, перец и различные специи по вкусу.

1 яйцо.

Картофель трем на терке или взбиваем в блендере, добавляем муку, яйца, по вкусу соль, перец.

Выкладываем ложкой на раскаленную сковороду и выпекаем как оладьи. Подаем к столу со сметаной или грибным соусом.

Сейчас позволяю себе даже БЛИНЧИКИ. Есть у меня совершенно замечательный рецепт их приготовления от одной из поклонниц, Анны Андреевны Опарий из города Фрунзе. Она давно умерла, но рецептом пользуемся по сей день:

в блендере или миксером взбиваем:

1 стакан холодного молока;

2 стакана муки.

Добавляем соль, сахар по вкусу, погашенную соду, завариваем 0,5 стакана крутого кипятка!

Продолжаем взбивать, добавляя 2 яйца, 2 стакана горячего молока, 2 столовых ложки оливкового масла.

Печь лучше на блиннице, тогда они получаются тоненькие, совсем прозрачные.

Люблю тушеную капусту. Есть такое польское национальное блюдо – бигос. Это смесь поочередно тушеной свежей и квашеной капусты, а также мяса и копченостей. Можно еще сушеных грибочков туда бросить. Отдельно на сковородке пассеруется лучок, можно добавить немного сметаны и кетчупа, тмина. Получается вкусное блюдо.

Очень люблю травы. С удовольствием пью настои из шиповника, мальвы, ромашки, липы. Вкусный напиток получается из ягод можжевельника, ведь прославленный джин – это настойка обыкновенной водки на ягодах можжевельника, а если сделать паровую баню из ягод можжевельника, то получается очень нежный напиток, который обладает целебным свойством выводить лишнюю жидкость из организма.

Процесс приготовления еды для меня очень важен – это своего рода отдушина. Люблю придавать фирменным рецептам что-то свое, вносить, так сказать, авторские нотки. Еще моя страсть – соусы, с их помощью можно придать блюду особый вкус. И специи! Их у меня великое множество! Это сейчас их легко

купить в любом магазине, а в былые времена эту изюминку надо было ещё суметь достать…

К диетам отношусь с опаской, диета – это голод. Я несколько лет впроголодь жила, до восемнадцати лет не могла наесться, постоянно хотелось есть, но, как артистка, должна держать себя в форме, поэтому знаю множество диет. Самая популярная – кефирная, но мне она не подходит – до девяти лет я не видела молочных продуктов, и моя поджелудочная железа не вырабатывает фермент, чтобы их перерабатывать. Так же, как и фермент для переработки мяса. Поэтому моя диета очень проста: не переедать.

Чтобы держать себя в форме, достаточно не забывать важный жизненный принцип: движение – одно из самых лучших лекарств. Раньше каждое утро проходила 5–6 километров спортивной ходьбой, а теперь довольствуюсь неспешными прогулками по территории в сопровождении собак. Обожала играть в бадминтон, кататься на велосипеде в хорошей компании – это не только прекрасное упражнение для ног, но и сжигание лишних калорий.

Считаю, что надо быть верной самой себе. У меня есть свой стиль, свой жанр, своя публика. Я такая, какая есть, и другой быть не хочу. Всегда говорю: «Все, что трудно, – очень просто». Нужно себя уважать, любить, не давать себя в обиду, не переживать зря, жить любя, с высоко поднятой головой. И еще очень важно не терять собственного достоинства, не забывать, что мы женщины. Пусть будет удобная и красивая обувь, сумочка, какой-то шарфик или оригинальный аксессуар – не только бриллианты украшают женщину. Обязательно ухоженная головка, ногти. Убеждена, что внешность зависит от душевного состояния – не может быть красивым злой и завистливый человек.

А еще женщина должна всегда быть влюблена! Человек окутан любовью с пеленок, сначала это любовь матери, потом мужчины и женщины. Человек любит своих детей, Родину, землю, свой дом. Наконец, женщина, когда она уже зрелая, влюбляется, как девчонка, в своих внуков, затем в правнуков. Вот и весь секрет!

В «соловьиной роще»

Возвращаясь с гастролей в квартиру на 5-й Советской, что у БКЗ «Октябрьский», трехкомнатную, выстраданную и такую любимую, всегда мечтала о загородном доме.

Я же открываю окна настежь… а за ними шумный город. Какой тут отдых.

Всю жизнь чувствовала себя Вассой Железновой – играла роль мужчины: многие годы руководила мужским ансамблем, зарабатывала и обеспечивала семью… Вот и подумала, почему бы дом не построить? Решение созрело в 1989 году.

Долго искала для него место. Поначалу был участок в Грузино, там, где построены дачи практически всех питерских знаменитостей, но это не мой случай: слишком много «звезд» на «метр квадратный», хотя вернее сказать, «на сотку». Во мне заговорила моя шахтерская кровь и желание в свободное от работы время побыть наедине с природой в окружении самых простых людей, мне с ними очень комфортно.

Прошло время, и я купила, опять же волею случая, небольшой участок с домом в обычном садоводстве в Северной Самарке, в 30 километрах от суеты и шума большого города. Увидев этот прекрасный лес, деревянный дом, в котором было всего две комнаты, решила, что, если его обложить камнем, будет хорошо. На шести сотках за домом стоял еще железнодорожный вагон… За этот небольшой надел и халупу, что на нем стояла, заплатила тогда огромную сумму – 25 000 рублей (практически все свои сбережения). Когда мне дом продавали, сказали, что он пригоден для проживания. Месяц жила, обливаясь слезами, и поняла, что меня просто обманули. Отопления нет, удобства на улице, за водой приходилось ходить на колонку. Стены этой хибарки оказались из прессованных опилок, покрытых оргалитом. Когда их вскрыли со стороны улицы, внутри оказался пенопласт, укрепленный крест-накрест старой вагонкой. Не ожидала, расстроилась, села и сказала: «Дайте вина, выпью за свою дачу». Грустно было… Когда мне составили смету на строительство нового дома, расстроилось ещё больше, но с наступлением перестройки, при Михаиле Сергеевиче Горбачеве, за концерт стали платить не 48 рублей, а 150 и даже 300. Вот так год я поработала и снесла эту халупу за 30.000 рублей и начала строится.

Но скоро лишь сказка сказывается, не скоро дело делается. Могу сказать с гордостью, что построила дом сама, без помощи проектировщиков и дизайнеров, контролировала все работы от и до. Да, это был путь методом проб и ошибок, но в любом деле главное результат. Через два года бесконечных гастролей поставила новый дом из четырех комнат и крохотный гостевой домик на месте железнодорожного вагончика. Тогда не было служб, которые принимают заказы на строительство «под ключ», опыта строительства у меня тоже не было. До всего доходила сама. Купила я кирпич на заводе, 75 поддонов. Через несколько дней приезжаю, а кирпича и след простыл… Одна бригада сменяла другую, то халтурщики попадались, то ворюги, переделывали по несколько раз. Профессионалов я встретила только на пятом году этой «стройки века», так что дом стоит в три раза дороже, чем он мог бы стоить.

Участок купила маленький, всего 6 соток, но мой дом был крайний. Тогда у садоводства была хорошая председательница, она сказала: «Я бы не хотела, чтоб вы жили, как на дороге» – и добилась переноса дороги, а лесничество отдало мне несколько соток леса на 49 лет в аренду, итого получилось 20 соток. Позже я купила еще соседний участок, построили еще один дом в полтора этажа, «Павильон воспоминаний», так его называю. Так мои сказочные владения распахнулись почти на 30 соток.

Четыре постройки зеленого цвета, и все кругом зеленое, даже черепица на крышах. Друзья уже и подарки дарят «в тон», салатовый чайник, салатовые кружки, салфетки, кувшины… Может, это во мне так «взыграли» те зеленые лампы на столах в библиотеке, где я, студентка, готовилась к сессиям…

В доме всего два этажа, третий, цокольный, с подсобными помещениями и сауной. Две спальни на втором этаже, на первом кухня-столовая, гостиная с выходом в зимний сад. Винтовую лестницу на второй этаж венчает башенка. Ничего лишнего, минимум мебели и много свободного пространства. Всегда хотела, чтобы в доме горел очаг, тепло должно быть живое, от батареи такого не получишь. Сначала сделали темно-зеленый камин в узбекском стиле, но мне он не понравился, тогда мастер сложил новый. Я выбрала бежевые изразцы, потому что уже тогда предполагала, что в комнате будет много салатового цвета. Камин согревает в холодные зимние вечера, теперь уже у телевизора, растапливаем его перед католическим Рождеством, зажигаем свечи, тоже зелёные.

Меня часто спрашивают, почему в моем доме отсутствуют портреты родных, есть только небольшие фотографии. Не люблю

выставлять напоказ свою любовь и собственные портреты вывешивать тоже не люблю: кому-то нравится смотреть на себя в какой-то роли и такой портрет важен как память, а для меня это уже другой аспект, и самолюбованием заниматься не хочу.

Дом окружен соснами, прямо под окнами разбит небольшой, но красивый сад. Под окнами моей спальни кусты махровой сирени, напоминающие о папе. Перед домом, за садом, гараж для машины, без которой я не могу.

В «Павильоне воспоминаний» собрано всё связанное с творчеством за 60 лет. На первом этаже шкафы со стеклянными дверцами, в них мои концертные платья и обувь. Почетное место в павильоне занимает пианино Сан Саныча, за которым он писал для меня свои песни, зеленая подушечка с фотопортретом Сан Саныча, подарок от поклонников. Фоторепродукции и мои портреты. Уютный диван, кресла и журнальный столик для интервью. На втором этаже павильона витрины с дипломами, грамотами, награды за победы в музыкальных конкурсах, всевозможные кубки и статуэтки. Коллекция шляп, некогда любимых мною. Там же собраны пластинки, афиши, архив журналов и газет с интервью, записки из зала, памятные подарки за все эти годы от поклонников и коллег. В библиотеке собраны издания любимых авторов и словари, с помощью которых я постигала великий русский язык.

Во время строительства нужно было максимально сохранить зеленые насаждения, в основном яблони, что остались в наследство от бывших хозяев участка. Украшают территорию кусты черной и красной смородины вдоль дорожек, чтобы есть ягоды прямо с ветки. Клубника, высаженная не грядками, как принято в России, а на европейский манер – клумбами, под яблонями.

Получив в подарок участок леса, пришлось вывезти из него десятки «КамАЗов» мусора и облагородить лес, превратив его в парк с дорожками и местами отдыха. На 75-летие дочка подарила мне зеленый шатер с комплектом мебели, отличное место для пикника и того, чтобы спрятаться и отдыхать на воздухе в непогоду.

В Польше не было принято, чтобы женщина занималась садом, и я не научилась. Заключила договор с садово-парковым хозяйством, и они высаживают цветы, стригут газоны, ухаживают за насаждениями.

Соседи частенько заходят ко мне, причем всегда не с пустыми

руками: приносят огурцы, помидоры, картошку, они все это выращивают и щедро делятся со мной. Знают, что на моем участке этого нет.

В свое время я изучала философию и могу твердо сказать – человек сам создает себе ауру. Когда делаешь что-то с любовью, получается замечательно – я в обыкновенном садоводстве создала маленький островок уюта, построила дом своего детства. На участке высажена сирень, как воспоминание о папе, а вот розы в нашей земле не очень приживаются. Благодаря этому дому у меня есть очень доброе одиночество в компании с природой, к которой прикасаюсь каждый день. Хорошо, что я не просто уехала, а убежала из города, живу на природе, вдохновляюсь ею, меня радует, что на участке есть и живой лес, который я называю «соловьиная роща», и красавицы туи, и клумбы.

Со мной всегда помощницы – Вера и Нина Вячеславовна – и, сейчас уже, три собаки: старожил Мухтар, самый старший, ему 12 лет, и молодая парочка из приюта – Гайка и Бастин, им по 2 года. Обыкновенные дворняги, которые стали полноценными членами нашей семьи.

Здесь я слушаю тишину, открываю окно настежь и вслушиваюсь в каждую ноту пения птиц, голос кукушки. Такой тишины в городе быть не может, только здесь. С соседями договорилась, музыку они потише включают, и вокруг просто тишина, красота и благодать, которую может подарить только природа.

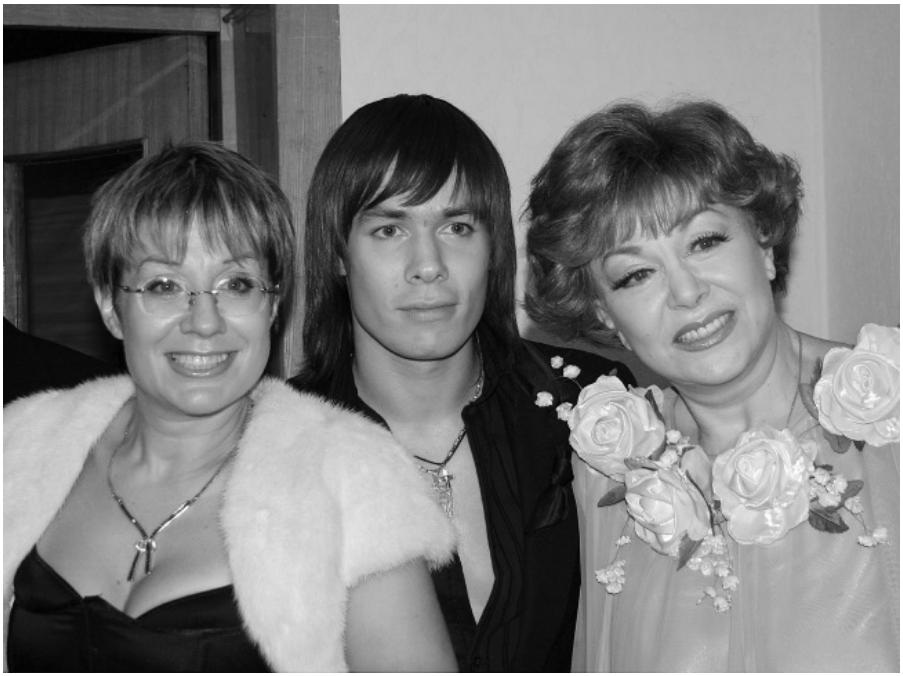
Но я бы ничего из своей жизни не вычеркнула: ни общежитие, ни коммуналки с раскладушками, ни тесноту, отсутствие лифта и шум в городской квартире. Для того чтобы познать хорошее, надо иметь возможность сравнивать с тем, что труднее.

Вместо заключения

Сегодня мы живем, как на ветру, и так нуждаемся в понимании и откровенности! Поэтому я очень хочу, чтобы мои песни были для людей маленькой отдушиной, праздником. Надо дать зрителям заряд доброты и тепла, любовь и покой, которые лечат. Когда пою, открываю людям своё сердце, чтобы согреть их сердца. Одна из моих первых французских песен была про девушку из Парижа, которая пела: «В жизни я не могу назвать себя счастливой. Моё сердце изранено. Но я сшила моему сердцу маленькое тёплое пальтишко». И я своё сердце одела в пальтишко, чтобы ему не было холодно оттого, что оно слишком часто мёрзнет. Хочу, чтобы мои песни для людей были как пальтишко, согревающее в стужу.

Ничего никогда не придумывала про себя, была удостоена многих наград и почетный званий.

Все, кто любят мои песни и в том числе меня, знают, что у меня уже много лет существует традиция – концерт в день рождения. Афиша обычно гласит: «День рождения вместе с вами!» Мне это очень близко сердцу, потому что люди, которые любят мои песни, – самые близкие для меня. На один из концертов, в мой день рождения, первый мэр г. Санкт-Петербурга Анатолий Собчак пришел с букетом цветов и специальным дипломом для меня: «Мы считаем, что вы – Королева песни нашего города!»



Сегодня моя жизнь – это дочь Илона, внуки Стас и Эрика и их дети. Эрика – большая умница, с отличием закончив музыкальную школу, выбрала профессию архитектора, а сегодня они со Стасом работают вместе. 2 октября 2013 года Эрика подарила мне правнучку Василису, а Стас 22 марта 2014 года – продолжателя фамилии, правнука Петра Станиславовича Пьеху. Я счастливая бабушка и даже прабабушка, живу в прекраснейшем городе, и мое сердце особенно радует мысль, что с Петербургом связана не только моя судьба, но и судьбы всех моих родных,

которые так или иначе посвятили себя сцене: Илона – ведущая и организатор концертных программ, Стас – известный и востребованный артист, Эрика – его директор, режиссер концертных программ, вдохновитель.

У меня есть чудесный дом, очень похожий на дом моего детства во Франции. В нем устроено все так, как я хотела, а в «Павильоне воспоминаний» стоит пианино моего дорогого Сан Саныча… И я часто думаю: «Как было бы хорошо, если бы грядущий юбилейный концерт мы делали вместе с ним». Даже представляю, как бурно протекала бы подготовка к нему, как Сан Саныч нервничал, убеждал меня в том, что нужно сделать так, а не иначе. Так и слышу его голос, вижу характерную мимику лица.

Очень жду момента, когда на концерте в БКЗ «Октябрьский», в день моего 80-летия, со мной на сцену выйдут все, кто мне так дорог – Илона, внуки и правнуки. В их судьбах, что называется, все сошлось – одно к одному. Все они, за исключением правнуков – они еще слишком маленькие, – в музыке, которая когда-то связала меня и Александра Александровича Броневицкого, вела нас по жизни, удерживала рядом друг с другом. И уже сегодня я понимаю, что все самое важное, что женщина хочет слышать от мужчины, он говорил мне в своих песнях, которые писал для меня. В них была вся его огромная, трудная, но искренняя любовь ко мне…

Северная Самарка, май 2017